

1(477)"654"
Г704

*И свет во тьме светит,
И тьма не объяла его.
Ис. 1:5*



В.С. Горский: Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Цикл интервью Татьяны Чайки

Г 204

В.С. Горский

Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Цикл интервью Татьяны Чайки

Дарунок від Пилипа Селігея

Киев

Издательский дом Дмитрия Бурого

2014

Наукова бібліотека
Національного університету
«Києво-Могилянська
академія»

664 262

УДК 821.161.1(477)-92

ББК 84(4Укр=Рос)6-9

Г70

Горский В.С.

Г70

Я прожил счастливую жизнь (Цикл интервью Т.А. Чайки) / В.С. Горский, Т.А. Чайка. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2014. – 176 с.

ISBN 978-966-489-281-7

Книга представляет собою запись обширного интервью известного отечественного философа Вилена Сергеевича Горского, которое он дал своей ученице и коллеге Татьяне Чайке. В.С. Горский рассказывает о своей жизни, творчестве, людях, его окружавших. Рассказ Вилена Сергеевича донесёт до читателя его особый взгляд на нашу совместную историю, историю страны, города, культуры – взгляд интеллигентного, умного и доброго человека, неистощимого собеседника.

УДК 821.161.1(477)-92

ББК 84(4Укр=Рос)6-9

При составлении подборки фотографий мы с благодарностью воспользовались семейным архивом Горских и книгой Ю. Завгороднего «Человек, умеющий слышать другого» (Киев, 2001 г.)

ISBN 978-966-489-281-7

© В.С. Горский, Т.А. Чайка, 2014

© Издательский дом

Дмитрия Бурого, 2014

Памяти моего дорогого учителя,
глубокого философа,
мудрого и доброго человек
Т.Ч.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i>	5
Счастливое советское детство	8
Философский факультет	34
По зову партии	60
Остров счастья	73
Киево-могилянская академия – золотая грёза	129
Вместо эпилога. Дети	162

Предисловие

Герой и, вместе с тем, основной автор этой книги, замечательный украинский философ Вилен Сергеевич Горский, подытоживая в нашем интервью рассказ о собственной жизни, без обиняков назвал себя человеком счастливым. Сказать по правде, меня, интервьюера, определенность этого высказывания несколько озадачила: путь Вилена Сергеевича отнюдь не был усыпан розами. Арест отца, тяготы эвакуации, скудная послевоенная юность, непреодолимые, казалось бы, трудности профессионального самоопределения, немилость начальства, всепоглощающая подвижническая работа изо дня в день, из года в год, – и этот человек, за полгода до кончины, уставший и больной, говорит о себе, что он счастлив. Хочется его понять, вникнуть в истоки такого восприятия жизни.

Для тех, кто склонен видеть в этом некий секрет, интервью Горского даёт несколько разгадок-рецептов. Вот, мол, никогда не приходилось заниматься тем, к чему душа не лежит. Вот, встречаться довелось преимущественно с хорошими людьми. Однако если посмотреть глубже, то ведь и занятия, и встречи случались разные – как у всех; Вилен Сергеевич ничего в этом смысле специально не подстраивал. А жизнь получилась счастливая. Значит, дело было в самой внутренней настроенности моего собеседника, в чем-то безыскусном, неотделимом от всей целостности его душевного облика? Думаю, что так. Безыскусном – и в то же время исполненном глубокого личного смысла..

Зная Вилена Сергеевича как учителя, коллегу и старшего товарища на протяжении десятилетий, я и до нашего интервью многожды успела порадоваться гармоничности его внутреннего мира, ненавязчивой его открытости, которая чаще всего не оставалась у людей без отклика. Вот, кстати, тоже одна из разгадок упомянутого «секрета» Горского: тот, кто попадал в сферу его обаяния, зачастую, даже сам того не ведая, поворачивался к нему лучшей своей стороной. Хотя, должна заметить, так случалось далеко не всегда, особенно в последние годы жизни Вилена Сергеевича.

У Георгия Федотова – автора, во многом близкого и симпатичного Горскому как исследователю философской культуры Киевской Руси, – есть ёмкое выражение относительно нравственного облика древнерусских святых: светлая мерность. Совершенно не во вкусе Вилена Сергеевича было бы обращение в рассказе о нём к слишком высоким материям, однако вот эта самая «светлая мерность», несомненно, была ему свойственна, притом в самых естественных своих проявлениях. Находясь, как говорится, на переднем крае и современных историко-философских исследований, и реформ университетского образования, пребывая едва ли не постоянно в поле разного рода проблемных напряжений и «искрящих контактов» между людьми, Вилен Сергеевич всегда и во всём умел сохранять удивительно человеческий стиль отношений, как бы самым своим присутствием пробуждая в тех, кто его окружал, чувство уверенности, внутренней свободы и особого нравственного уюта. Преподаватели и студенты Киево-Могилянской Академии тех лет, когда кафедрой философии в ней заведовал Горский, помнят, должно быть, неповторимо уютную атмосферу его маленького прокуренного кабинета, где всякий желающий мог рассчитывать на чашечку крепкого кофе по рецепту Вилена Сергеевича – и на разумное участливое обсуждение волнующих его проблем. Как-то само собой получалось так, что вокруг Горского неизменно складывалась среда, которая была насыщена живой философской проблематикой, располагала к дискуссиям, непринуждённому обмену мнениями – и вместе с тем содержала в себе нечто тёплое, задушевное, почти семейное. В лучшие свои моменты философское

сообщество Могилянки действительно представляло собой своего рода сплочённую философскую семью – и Вилен Сергеевич, признанный глава этого семейства, разумеется, имел все основания чувствовать себя в такие моменты человеком счастливым.

Хотелось бы, чтобы эта книга, в которой Вилен Сергеевич Горский рассказывает себя сам, помогла читателю составить определённое представление о нём не столько даже как об исследователе и мыслителе, сколько как о неповторимой личности со своей психологической и нравственной «аурой». Для этой цели одинаково важно и то, о чём ведёт речь Горский, и то, как он это делает. Поэтому, готовя текст интервью к изданию, мы старались, насколько возможно, удержать сам интонационный строй его рассказа, особенности словесного выражения, построения фраз. Характерно, например, своеобразное сочетание в речи Горского аналитического и эмоционально-оценочного акцентов, способных переплетаться, внезапно сменять или поддерживать друг друга. Все подобные нюансы нам представлялись значимыми, поскольку для тех, кто близко знал Вилена Сергеевича, в них сохраняется отзвук его личностной неповторимости. Этот отзвук хотелось бы сберечь для людей нового поколения как один из, быть может, скромных, но несомненных ресурсов доброты, понимания, человеческого тепла.

Татьяна Чайка

СЧАСТЛИВОЕ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО

Вилен Сергеевич, мы начинаем наше интервью традиционным образом. Назовите, пожалуйста, сами ваше полное имя, фамилию, место и время рождения.

Пожалуйста, Вилен Сергеевич Горский. Родился я 27 октября 1931 года в городе Харькове, на улице Клочковской, недалеко от Благовещенского базара.

У Вас такое дивное имя. Как оно Вам досталось?

Оно мне досталось от отца, судьба которого, к сожалению, складывалась довольно типично для многих молодых людей до-революционного поколения. Совсем молодым он активно включился в революцию, порвал со своей еврейской ортодоксальной семьей, прошел гражданскую войну, затем учился. Ко времени моего рождения он уже был инженером, работал в Харькове, начинал создавать Харьковский тракторный завод. Ну, и вот этот революционный большевицкий порыв отразился, в том числе, и на моем имени, которое тогда было модным.

Как это расшифровывалось?

Вилен – то есть Владимир Ильич Ленин.

Вы были у него единственный сын?

Да, единственный.

А сколько папе было, когда Вы родились?

Он 1901 года. Следовательно, ему было 30 лет.

А как его полное имя?

Сергей Маркович Горский. К сожалению, с отцом мое общение было весьма кратковременным, но я помню его хорошо. Так судьба его да и всей нашей семьи складывалась. Вот я вспомнил Ключовскую, где я родился. Вскоре оттуда мы переехали в так называемый дом специалистов. Папа же инженер, ведущий специалист Харьковского тракторного. Получить квартиру в таком шикарном доме было очень почетно. Нам дали огромную пятикомнатную квартиру, по тем временам, вещь неслыханная. Затем в 1932-33 году папу с группой молодых инженеров отправляют в Америку на заводы Форда на стажировку. Пробыл он там около полугода, вернулся, а через некоторое время его арестовали, судили, и я его больше никогда не видел.

Как Вы помните папу?

Воспоминания мои исключительно ранние, детские. Вот я помню, как он со мной ходил в зоологический сад. Особенно меня впечатлило, как мы вышли за ограду, где павлины были. Нас провел туда кто-то из работников зоосада, вероятно, папин знакомый. И он сказал, что если павлина раздражить, тот раскроет свой хвост. Дразнить его лучше всего чем-то красным. У нас, как на грех, красного ничего в одежде не было, тогда папа достал свое пурпурное служебное удостоверение, показал его павлину, и тот немедленно отреагировал – раскрыл свой шикарный хвост.

Ну, и еще вот такое вкрапление детское. Я играл с детишками, своими друзьями, возле дома. За папой приехала машина, и он меня посадил туда и провез до угла. Это было яркое впечатление, я чувствовал себя героем двора: на машине с папой проехал. Вот, собственно говоря, и все, что осталось у меня в памяти об отце.

А что Вы тогда знали о папином аресте?

Тогда – ничего. Почти через тридцать лет частично от мамы, частично разными окольными путями, я узнал подробности. Похоже, что почти сразу после его возвращения из Америки над ним стали сгущаться тучи. Оно, конечно, специалист с американской стажировкой, и послало-то его туда государство, а с другой стороны – потенциальный американский шпион. Году к 1936-му, когда тучи стали достаточно весомыми, друзья, желая отвести от отца беду, придумали такой необычный ход: они отправили его в Москву на велосипедный, кажется, завод, надеясь на то, что уж в Москве-то его не достанут.

Какой интересный ход! Бежать, прятаться не куда-нибудь в глушь, а в самую Москву!

Да, но и это не помогло. Буквально через месяц он был арестован в Москве. Через два года умер в лагере, где-то в Перми. Правда, каким-то чудом за эти два года он несколько раз переписывался с мамой.

А семья?

А семья, вопреки всему, осталась в Харькове. Полагаю, что неразбериха и в то время даже в органах, которые вообще-то не отличались склонностью к неразберихе, все-таки существовала. Итак, мы с мамой и бабушкой продолжали жить в Харькове до самой войны в том же доме и в той же квартире; правда, нам из пяти оставили только две комнаты.

В остальные подселили соседей, квартира стала коммунальной.

Сохранились ли у Вас папины фотографии?

Да.

А те письма?

Писем нет, письма у мамы потерялись, кажется, в эвакуации. Зато есть очень хорошая фотография, молодые отец и мать, видимо, вскоре после женитьбы.

Я так понимаю, что на их свадьбе папиных родственников не было?

Нет, конечно, я уже говорил, что в юности он вынужден был порвать со своей семьей. Мама рассказывала, что это была очень религиозная еврейская семья, которая жила, по-моему, в Витебске.

А впоследствии связь с ними не была восстановлена?

Ну да. Отец, естественно, не успел, а я через много-много лет, когда получил официальное сообщение о его реабилитации, узнал, что отец был реабилитирован по ходатайству его брата. Так я узнал адрес брата, то есть своего дяди, он с семьей жил в Москве.

Это какие годы?

Ну, это уже хрущевское время.

До этого времени – никаких связей с семьей?

Никаких связей с семьей не было абсолютно. Я написал письмо дяде, он мне моментально ответил, прислал официальное удостоверение о реабилитации и довольно теплое письмо. Он сообщил, что в Москве еще живет папина сестра. Но ведь они были уже очень старые люди, и когда я буквально через год или два – это уже было в шестидесятые годы, – поехал в Москву, пошел по этому адресу, мне сообщили, что их нет в живых, они умерли.

То есть никого из этой веточки вашей отцовской Вы никогда не видели?

Нет, нет. Меня растила и воспитывала мама.

Давайте поговорим о маме. Как звали маму?

Кричевская Анна Моисеевна. Их род был из Кременчуга. Там она закончила коммерческое училище, работала экономистом на щеточной фабрике в Харькове.

Какого года рождения мама?

Она 1899-го, отец был моложе ее на два года. Собственно, мамина семья, те, кто жил поначалу с нами, – мамины родители, то

есть мои бабушка и дедушка. Дедушка умер рано, когда я был совсем маленьким, я его практически не помню.

Как звали дедушку?

Дедушку даже не знаю, как звали, а бабушка, Евгения Львовна, жила с нами еще много лет, собственно, они меня с мамой и вырастили. Вот такая была наша семья: бабушка, мама и я. Мама вынуждена была работать, тянула все это дело, а бабушка была, так сказать, хранителем домашнего очага и моим воспитателем. Она умерла в 48-м году, я уже был в десятом классе.

А мама... Ну, естественно, в её молодые годы свалилось на нее это несчастье с отцом, и она всю жизнь отдала мне. У бабушки моей была младшая сестра, тетя мамина. Ее муж жил в Киеве, в Министерстве финансов работал. Они усиленно опекали маму, поддерживали ее. Я помню, что каждое лето мы приезжали в Киев и вместе с семьей двоюродного деда нередко отдыхали в Каневе – мы с мамой и бабушкой, сестра бабушки Сара Львовна и её муж, мой дядя, Иосиф Маркович. У них была еще дочь Мара, моя двоюродная сестра, она была старше меня. Окончила школу в 41-м году.

В Киеве?

В Киеве, да. Я ее очень любил, и она меня очень любила всю жизнь. К сожалению, ее уже тоже нет в живых. До последнего времени мы, так сказать, были очень близки. Вот так мы жили до войны. А затем, значит, война. Сначала к нам из Киева в Харьков приехали наши Короховы. И вместе с ними мы по месту работы Льва Марковича эвакуировались в Киргизию, в город Фрунзе.

А я все-таки еще хочу Вас вернуть в эти довоенные годы, потому что десять лет вашего довоенного детства – это все-таки кусок жизни. Скажите, пожалуйста, Вам «посчастливилось» ходить в садик?

Нет, нет, я в садике не был никогда благодаря бабушке. Я выращен бабушкой, а потом мамой.

А вот Вы пошли в школу. Это была школа русская, украинская, какая?

Это была русская школа – по месту жительства, так сказать. Я выходил из подъезда, переходил через дорогу и заходил в школу.

Класс был смешанный, девочки и мальчики вместе?

Да, смешанный класс, девочки и мальчики. Я еще учился в музыкальной школе три годадо войны по классу фортепиано. Это мама меня водила на Сумскую в школу.

Как вы туда ходили, с удовольствием?

Я не очень большое удовольствие получал от этого, но занимался.

Дома было пианино?

Да, дома было пианино. Кстати, интересна история этого пианино. Когда мы вернулись из эвакуации в Харьков, мама встрети­лась с нашей соседкой, вот той, которую вселили к нам, Анна Францевна такая была. Она была полунемка, оставалась в Харькове в период оккупации, но жила потом в другой квартире. И из вещей наших она взяла себе пианино, очень красивое, помню, пианино орехового дерева. И вот когда мама с ней встрети­лась, она сама сказала, что вот пианино ваше, вы его можете забирать. Мама его тут же продала, и этих денег нам хватило для того, чтобы из Харькова переехать в Киев. На этом, собственно, и закончилось мое музыкальное образование.

Хорошо, я поняла, что это Вам особого удовольствия не доставляло. А что вы делали с удовольствием? Ваше первое детское увлечение?

Театр. Причем это у меня было увлечение серьезное на протяжении всех десяти лет учебы. Первые годы это было, так сказать, пассивно. Но вот я хорошо помню, в эвакуации, в четвертом классе, во Фрунзе... Представь себе наше тогдашнее материальное состояние. Правда, мама в эвакуацию смогла взять папины костюмы,

привезенные из Америки, мы с ней регулярно ходили на толчок, продавали эти костюмы, и это был приличный довесок к той зарплате, которую она получала. Какие-то копейки мне давались на, так сказать, карманные расходы. Вот на эти копейки я покупал билет и регулярно сам ходил в драматический театр, – а туда эвакуировался Русский драматический театр из Киева, – и смотрел все спектакли.

Ребенок мог ходить в театр один?

Да, да. Это, считай, 42-й и 43-й год, мне было одиннадцать лет. На дневные спектакли, конечно.

Это была труппа театра Леси Украинки?

Я вот не знаю, вся ли труппа, но, во всяком случае, много актеров, которых я видел и полюбил уже потом в Киеве, – Халатов, Драга, вот они играли в этом театре.

А что это были за спектакли? Что-то Вы помните из того, что тогда смотрели?

В основном, классика. Помню «Ревизора». И еще моим увлечением были книги, я страшно любил читать Шекспира.

В четвертом-то классе?

Да, причем именно пьесы. Вообще-то, в театр я врос очень надолго. Потом, когда мы приехали в Киев и я стал старше, пошел в драмкружок.

Когда освободили Киев, Лев Маркович с семьей вернулись домой, а затем и мы приехали к ним. Сначала, правда, мы с мамой и с бабушкой вернулись в Харьков (по положению, существовавшему тогда, мы имели право занять нашу прежнюю квартиру). Но с квартирой случилось вот что. Наш дом попал под бомбежку, и бомба срезала часть пятого этажа, как раз в том месте, где были две наши комнаты. Таким образом, дом сохранился, а наше жилье было разрушено. Когда мать обратилась с просьбой предоставить

жилье, ей сказали, что вот ваше жилье есть, пожалуйста, отремонтируйте и можете там жить. Естественно, это скорее звучало как издевательство. Тогда мы поехали в Киев и какое-то время жили вместе с дядей.

Они вернулись в свою старую квартиру?

Нет, не в старую, они получили квартиру на Пироговской улице. Там у них было три комнаты. Ну, и когда мы ехали, речь шла о том, что они будут занимать две комнаты, одна комната будет наша. Но пока мы приехали, в эту комнату уже вселили еще одного сотрудника Минфин. Мы жили в двух комнатах с той семьей. Тяжело было. Мама пошла работать в Гипроград – Государственный институт проектирования городов Украины.

А у мамы тоже было инженерное образование?

Она экономист.

Но это было высшее образование?

Да, высшее. Она начальником планово-экономического отдела работала. Гипроград находился в Рыльском переулке. Это была интересная такая «Воронья слободка» в 1944-1945 году. Гипроград занимал четырехэтажное здание. На втором и третьем этажах был собственно институт, а на первом и последнем жили его сотрудники. Жить с семьей дяди Лёвы на Пироговской нам было очень сложно, мама добивалась квартиры в Гипрограде. Ей, конечно, что-то полагалось, но поскольку там всё уже было давно распределено, нам досталась бывшая ванная комната. Планировка квартиры была такая: это была коридорная система (я не знаю, что там было до революции), длинный коридор и комнаты в одну сторону. А в конце была ванная, она состояла из двух таких маленьких помещений. В первом был вмурован большой котел, в котором нагревалась вода, а во втором стояла сама ванна. Вот это место и стало нашей квартирой. На ванне сверху была положена сетка, на которой спали мама и я.

То есть из ванны сделали кровать?

Да. А на котле сделали кровать для бабушки. Ну, и там еще помещался – тоже в Гипрограде дали, – чертежный столик, который служил нам обеденным столом.

А окошко там было где-нибудь?

Окошко было, да, было, большое окно. Вот в этом апартаменте мы прожили почти три года, с моих тринадцати до шестнадцати лет. Затем освободилась комната, которую занимал главный бухгалтер Гипрограда, ему дали лучшую квартиру. А его комнату в доме на площади Богдана Хмельницкого дали нам, но мы уже туда, к сожалению, только с мамой переехали. Бабушка умерла в 48-м году.

Вилен Сергеевич, а там, где вы жили в ванной, сколько соседей у вас было?

Там, где мы жили в ванной, был огромнейший, густо населенный коридор, больше десятка семей там жило. Весь Гипроград жил вот в этом коридоре и в аналогичном коридоре на четвертом этаже.

С одной кухней?

Да, с одной кухней.

А у вас был на кухне свой столик?

Столика там на кухне ни у кого не было, кухня была неожиданно очень маленькой. Готовили мы в основном на электроплитке, которая стояла в нашей, так сказать, комнате.

Электроплитка, а не примус?

Да, электроплитка, это же Киев.

Итак, после нашей ванной, в 48-м году, мы получили комнату в большущем доме на Владимирской, 24. Дом старый, когда-то, в дореволюционном Киеве, здесь жила верхушка церковной иерархии. Там были огромные квартиры пятикомнатные, с кухней. Вот там была кухня огромная. А отдельно, кроме этих пяти комнат, была комната для прислуги. Эта комната имела отдельный вы-

664162
ход на лестничную площадку, причем не на черную, а на парадную лестницу. Во время, о котором идет речь, в каждой из комнат этой квартиры жила семья, там было пять семей. Нам досталась та самая комнатка для прислуги, так называемая отрезная. Особенность ее заключалась в том, что поскольку смежная с ней комната была закрыта, там жила совсем другая семья, для того, чтобы нам попасть в туалет, в ванную, в кухню, нужно было выйти на лестничную площадку и уже оттуда как бы заново зайти в квартиру. Одна из соседок была у нас очень бдительная, она все время набрасывала на общую дверь предохранительную цепочку, поэтому каждый такой наш переход сопровождался еще звонком с тем, чтобы кто-то мог нас в квартиру впустить. Вот в такой квартире мы прожили до 1967 года, пока не получили эту квартиру, в которой мы сейчас с вами сидим. Почти двадцать лет мы там жили. Зато кухня была огромная. Я помню, как Сережка, мой сын, и соседская девочка, такого же возраста, как мой Сергей, вдвоем на трехколесных велосипедах свободно катались по этой кухне, по коридору и по кухне, при том, что каждая хозяйка имела в кухне свой стол и, соответственно, там готовила. В этой кухне уже были газовые плиты, но отопление было печным.

Вилен Сергеевич, мой вопрос относится и к вашему довоенному детству, и к периоду после войны: не помните ли Вы, маме по дому никто посторонний не помогал, домработниц у вас не было?

Нет, домработницы дома не было, все хозяйство вела бабушка. Когда она умерла в 48-м году, мы с мамой вдвоем начали, так сказать, овладевать секретами кулинарии. До этого уровень яичницы был пределом наших познаний в этой области. Все целиком находилось в ведении бабушки, до самой смерти она была у нас хранительницей домашнего очага.

А, скажите, Вилен Сергеевич, язык, на котором разговаривали в вашем дом во времена вашего детства, юности, в основном был какой?

На русском языке разговаривали в доме, еврейский, идиш, знала только бабушка. Причем, мама уже не знала его. Ну и бабушка иногда, вот когда мы жили в этой ванной комнате, говорила на идиш.

С кем?

А там был круг подружек бабушки, её возраста, они сидели во дворе как раз под окном нашей ванной комнаты и вели беседы на идиш.

На идиш. А бабушка с папой никогда не говорили по-еврейски? Вы такого не помните?

Нет.

А украинские вкрапления какие-то были?

Были. Кременчуг, они же родом оттуда. Я помню летом, до войны, мы в Канев ездили на дачу, вот там общение на украинском языке было.

Итак, я уже выяснила, что маленький Виля любил читать, любил театральные представления, а еще?

Ну, пожалуй, таким и был круг, так сказать, моих увлечений. Еще я любил просто общаться.

А футбол? А во дворе?

Ну, во дворе я любил общаться с ребятишками, мальчиками, девочками. Как обычно, к стыду своему, особой тяги к спорту у меня не было, не сложилось как-то со спортом.

Скажите, пожалуйста, а вот до войны, до эвакуации, Вам приходилось в свой адрес слышать слово «жид»?

Нет.

Никогда?

Никогда. Не знаю, то ли общение было такое, то ли обстановка другая. То есть этой темы не было. Более того, этой темы не было и в войну. Я уже говорил, мы эвакуировались во Фрунзе, но до этого некоторое время прожили в селе, состоявшем из раскулаченных в 30-х годы и сосланных в Киргизию украинцев. Такое себе украинское село.

Как оно называлось?

Ворошиловка. Это недалеко от Фрунзе. Нас там приняли как родных и очень тепло о нас заботились. Помню, меня сразу окружила куча моих сверстников, с которыми я впоследствии очень дружил.

У хозяев мальчик был такого возраста, как я. Когда мы с ним познакомились, он мне говорит: «как стемнеет – пойдем гулять». Вечером на околицах села собиралась молодежь постарше, парубки, девчата, песни пели, ну и мы, пацаны, крутились вокруг. Когда мы подошли, местные ребята спросили: «Кто это?» Мальчик говорит: это эвакуированный, они только что приехали. Меня приняли в компанию и, помню, старший спрашивает: «Ты куришь?» Ну, думаю, надо же поддерживать марку, говорю: «Да, конечно». Они мне и этому хлопцу скрутили самокрутки – это была первая самокрутка в моей жизни. Но мой новый дружок был, по-видимому, таким же курильщиком, как и я, мы затянулись, и меня страшно затошнило. Мальчик говорит: «Пошли к арыку». Мы подходим, течет арык, он говорит: «Ложись». Мы легли, вырвали туда в этот арык. Вот так закончился мой первый опыт курения.

Интересно, на каком языке они разговаривали?

На украинском и на русском.

Но не на киргизском?

А киргизов там не было.

А скажите, пожалуйста, как это раскулаченное украинское село в Киргизии относилось к немцам, к факту войны?

Ну, как к захватчикам, в общем. На моем уровне восприятия все было довольно однозначно и официозно.

И никаких разговоров тайком между взрослыми, ничего?

Во всяком случае, я ничего такого не слышал. Ведь моя среда обитания – это мама и бабушка, Евгения Львовна.

А школа?

А в школе точно нет.

Скажите, пожалуйста, знали ли вы в эвакуации о том, что делали немцы с евреями на оккупированных территориях?

Нет.

И темы такой не было?

Не было. Эта тема возникла уже по возвращении сюда, но в связи с темой Бабьего Яра.

Вот как. В вашей семье не было погибших в Холокосте?

Не было. То есть в той части семьи, с которыми мы общались, – все эвакуировались.

А застали ли Вы в довоенное время кампанию борьбы со шпионами? Я имею в виду 38-й, 39-й, 40-й, когда все ловили шпионов.

Шпионов я ловил сам уже в 41-м году, когда война началась. На нас тогда очень подействовал фильм, снятый по книге Гайдара, «Тимур и его команда», причем снят он был с продолжением – Тимур и его команда в военное время. Нас особенно впечатлил такой эпизод: тимуровцы шли по улице и следили за светомаскировкой, а в те окна, которые были не занавешены, и из них пробивался луч света, они бросали камни. Вот это нам очень понравилось, и мы с мальчишками сразу же начали обходить наш (в Харькове) дом специалистов и бросать камни в окна, где, как нам казалось, пробивается свет.

А что, такие окошки были?

Нет, сознательного отсутствия светомаскировки, конечно, не было. Просто где-то сквозь неё пробивался свет.

А еще я помню такое. Я с моим товарищем, таким же мальчишкой, обратил внимание на какого-то подозрительного дядьку, который сидел на парапете возле нашей школы и что-то то ли рисовал, то ли чертил. Мы решили, что это шпион, и договорились так,

что мой приятель будет следить за ним, а я тем временем сбегая в милицию и сообщу о том, что мы нашли шпиона. Помню, прибежал туда, там какая-то суматоха была, много людей. Я, значит, сказал милиционеру, тот меня выругал, говорит, ты уже сотый со своими шпионами, убирайся отсюда. Я, обиженный, ушел, вернулся обратно, а тот дядя, естественно, уже куда-то исчез. На этом наша ловля шпионов и закончилась.

Я так понимаю, что это был июль или август 1941-го? А когда вы эвакуировались?

Вскоре после этого. Но это была очень длинная дорога.

Вас по дороге бомбили?

Бомбили. Но первые бомбежки я еще в Харькове наблюдал. Ночью нас будила сирена, все бежали вниз, в бомбоубежище под домом, а потом мы, мальчишки, вырывались оттуда, не слушая старших, стояли у открытой двери подъезда, наблюдая, как прожектора ловят самолет в небе для зенитчиков. По дороге в эвакуацию нас бомбили уже прицельно, это была теплушка, плотно набитая людьми. Поезда ходили, естественно, без всяких расписаний, часто останавливались в голой степи. И люди высыпали наружу, потому что нужды свои надо было как-то справлять. А иногда поезд останавливался, потому что объявляли налет, мы бежали из вагона и ложились в степи навзничь, пережидая. Так мы ехали очень долго, первое место, где нас высадили, был город Энгельс, на Волге, это дорога на Саратов. И вот, что меня тогда поразило: нас там разместили на ночлег, мы зашли в дом, где все было прибрано, убрано, чисто, но дом был абсолютно пустой. Весь город был пустой, потому что немцев оттуда всех выселили.

Это что, был немецкий город, немецкий дом?

Да, это были немцы Поволжья, которых спешно интернировали. Ночь в доме том мы переспали, а потом нас поволокли дальше, в Киргизию. И там уже нас распределяли. Это довольно длинная процедура была.

А долго вы туда ехали?

Да, по-моему, несколько недель, если не месяц целый. Нас тогда распределили в село, о котором я вам уже рассказывал. К началу учебного года я опоздал, но быстро нагнал упущенное.

А вот Вы говорили, что жили во Фрунзе?

Да, во Фрунзе мы с семьей Льва Марковича вначале прожили несколько недель. А потом, надо же было маме где-то работать, работа нашлась в колхозе, экономистом или бухгалтером, и мы уехали в Ворошиловку. А вскоре к нам перебрались Сара Львовна и Мара. Через некоторое время и мама, и Лев Маркович нашли работу во Фрунзе, и мы все переехали туда уже до конца эвакуации.

А долго вы прожили в Ворошиловке?

Год, пожалуй.

И что в ту пору было самым трудным: голод, холод или ничего такого не было?

Холода не было, а вот голод чувствовался. Помню изощренные кулинарные приемы бабушки: в дело шли патока, кукуруза, из которых бабушка на мой день рождения пекла торт.

То есть, это было ваше десятилетие?

Да, вот такой у меня был праздник. Надо признаться, я в детстве очень любил сладкое. И вот, понимаешь, не мог себе простить: до войны, в Харькове мама часто покупала мне пирожные и, застав меня гуляющим во дворе, совала мне эти пирожные прямо в подъезде, заставляла тут же съесть, а я не хотел. И вот во время войны в Ворошиловке я часто вспоминал, какой был тогда дурак, что не хотел, от такого количества пирожных отказался в свое время!

В связи с голодом еще вспоминается мне вот что. Уже во Фрунзе мы снимали комнату в пригороде. У нашего хозяина был великолепный сад.

А хозяин был кто, киргиз?

Нет, русский. Так у него в саду росли великолепные персики. Летом хозяин мне говорит: «Вот ты же все равно без дела сидишь, целый день читаешь. Так иди, ложись, читай под деревьями в саду, чтобы отгонять пацанов, которые лазают там, ветки ломают, обрывают² и т. д. Я брал кусок хлеба, брал Шекспира (в местной библиотеке было такое шикарное издание, многотомное, с великолепными гравюрами), шел, ложился на целый день под этим деревом. Ел всласть персики, которые были вокруг, а потом колол косточки их и съедал тоже. Косточек за день набиралось много, и в результате этого я довольно серьезно заболел, что-то вроде дизентерии у меня было. И вот когда я лежал с температурой и, естественно, мне ничего не давали есть, у мамы на работе произошло такое событие. У их директора, вместо машины, была коляска, запряженная лошадью. Возила её старая кобыла Машка. И вот эта Машка сломала ногу. Ее прирезали, и всем служащим выдали по куску конины. Это был для всех большой праздник.

То есть мясо было редкостью?

Да, мяса мы там вообще не видели. Когда мама принесла домой кусок конины, это было целое событие. Из неё бабушка сделала котлеты, все с наслаждением ели. А я лежал, смотрел на все это, слышал запах, но мне не могли дать ни кусочка.

Так и не досталось?

Так и не досталось.

Кошмар какой-то! Это был какой класс?

Четвертый.

И тогда был Шекспир?

Да. И кобыла Машка, о которой я до сих пор вспоминаю. Вот такие у меня были переживания.

А там общение с киргизским населением было?

Было... но очень толерантное. Ну, естественно, они все, общаясь с нами, оговорили на русском языке.

А их много было во Фрунзе или не очень?

Да, во Фрунзе много было. Я даже помню, у нас соседи были киргизы, мальчик был такой, как я. И у них был верблюд, как-то мы с ним повели его пастись. Мальчик говорит мне: «Хочешь прокатиться на верблюде?» Я, конечно, очень захотел, сел на него, мальчик взял верблюда на поводок, и мы тихонько пошли. Верблюд так спокойно и тихо шел дорогой, но когда он увидел свой дом, побежал. А бежит он оригинально, взбрыкивая то передними, то задними ногами, соответственно, и горбами тоже.

Верблюд двугорбый?

Да, я между горбами сидел. Верблюд сразу же вырвался из рук поводыря, я отчаянно вцепился в горб, но все равно упал. Буквально рядом со мной хлопнуло верблюжье копыто. Вот, до сих пор вспоминаю.

Итак, общение с киргизами у нас было вполне нормальное, учили мы в школе киргизский язык, я даже пятерку имел по нему, но учил, правда, всего лишь один год... Во Фрунзе я ходил еще в Оперный театр, там я запомнил национальную оперу, созданную киргизским композитором, такое шумное и красочное зрелище. Меня очень впечатлили тогда пышность, яркость и красота всего этого.

А с бандитизмом во Фрунзе во время войны вы сталкивались? Вот хулиганов на улице боялись?

Нет.

Во Фрунзе был порядок?

Похоже, что да. Или мой круг общения был ограничен, но я не сталкивался ни разу с хулиганами.

А близкие закадычные друзья в это время у Вас уже были?

Особо закадычных не было, вот были мальчики, дети хозяев, у которых мы жили. С ними мы общались.

Вилен Сергеевич, я хочу Вас поспрашивать еще о читающем мальчике Виле. Когда началось ваше общение с книгами?

Очень рано, еще до войны и даже до школы. У нас в Харькове, дома, было очень много книг. Кстати, это самое последнее впечатление, воспоминание об отце. У нас была большая комната – может быть, его кабинет был, – там вдоль стен стояли шкафы с книгами. Я не помню, чтобы меня кто-то специально учил читать, но очень хорошо помню, что научился читать еще до школы. И просто, играя в этом кабинете, я вытащил красивый большой том Некрасова, и вдруг какое-то его стихотворение взял и прочел, сам себе удивился, что я (смотри ж ты!) уже могу читать.

А до того кто Вам читал – мама, бабушка?

И мама читала, и бабушка.

То есть читали много. А что взяли в эвакуацию с собой?

Ну, понимаешь, эвакуация напоминала бегство. К тому же, дядя сказал собираться очень быстро. В чемоданы бросали все, что попадало под руку.

Но книги с собой не брали?

Нет, книг не брали, потому что надо было брать одежду.

А вот Вы сказали, что во Фрунзе была большая библиотека. Где она находилась?

Это городская библиотека, туда можно было записаться.

А в школе была библиотека?

Не помню, чтобы пользовался школьной.

Значит, главными увлечениями и в эвакуации оставались книги и театр? К музыке больше не возвращались?

К музыке, к исполнительству не возвращался, но в университетские годы филармония – было самое посещаемое место.

Об этом мы еще поговорим далее. А пока, Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста: как вы, дети, тогда узнавали о ходе войны?

По радио.

Радио было в доме?

Да, в доме «тарелка» висела, и сводки Информбюро слушали регулярно, особенно когда уже начался откат, когда начали освобождать Украину, Киев, Харьков. Это воспринималось с торжеством. Ну а в конце 1943 года мы уже вернулись на Украину и через некоторое время оказались в Киеве. В 1944 году я пошел уже в киевскую школу.

А как формировались ваши интересы тогда? Что Вам нравилось читать помимо пьес?

Ну, приключенческое, Жюль Верн.

А фантастика? Вот научная фантастика?

Научная фантастика меня не очень увлекала.

Тогда вообще ее много читали?

По-моему, нет.

А из школьных предметов что нравилось больше всего?

Ну, сказать, чтобы я был в школе таким уже идеальным учеником, нельзя. А нравились гуманитарные предметы: история, литература.

Этот вектор был сразу?

Да. Как-то склонности к математике, физике, химии у меня не наблюдалось.

А любимые учителя были?

К сожалению, нет.

Вот не было любимых учителей. Следовательно, приоритет гуманитарных наук сформировался помимо них?

Да, но может быть, и им я обязан чем-то. Но яркого такого следа учителя как личности, к сожалению, у меня не осталось.

А интересно, кем мама хотела Вас видеть?

Мама не хотела меня видеть актером. Вот это у нее было самое, так сказать, главное. Вплоть до десятого класса я был убежден, что пойду поступать в театральный институт.

А направление: драма, комедия, что?

Драма.

То есть Вы себя видели драматическим актером. Мама не хотела – почему?

Мама не хотела, она говорила, это не профессия. Она считала, что здесь нужен либо божий дар, либо вообще этим лучше не заниматься.

А бабушка?

Бабушка как-то сочувствовала маме.

А кто Вас понимал, кто в семье разделял ваше стремление к театру?

Мара. Вот эта старшая тетя.

Ну, практически, она ведь вам была как сестра.

Как старшая сестра. Уже после эвакуации в Киеве она тоже ходила в драмкружок. Я помню, что и во Фрунзе, будучи студенткой строительного института, она играла в тамошнем драмкружке.

То есть у Вас был чуткий, стало быть, тыл в этом смысле? А как относилась Сара Львовна к Мариному увлечению? Тоже не хотела?

Довольно спокойно. Ведь Мара уже училась в строительном институте. Речь об актерской профессии, следовательно, для нее вообще не шла, а увлечение, так сказать, всячески поощрялось.

Вилен Сергеевич, а ваши влюбленности? Вы были влюбчивы?

Особенно нет. То есть я помню первую, так сказать, довоенную даму сердца, Леру.

Вот оно!

Это была девочка, которая тоже жила в нашем доме, но в другом подъезде. Мы с ней играли всегда во дворе вместе, и вот она меня, так сказать, привлекала. Лера – моя ровесница

Ее судьбу Вы не знаете?

Не знаю абсолютно. Ну, война разметала.

А в эвакуации?

В эвакуации нет, ничего такого не было. Девочки появились уже здесь, в Киеве, в старших классах, точнее, в драмкружке. Это был еще один путь, так сказать, общения с девочками, мы же учились здесь в мужской школе. А 13-я была женская, и вот в женской школе был драмкружок, куда допускались, естественно, и ребята. И еще у нас была школа бальных танцев, туда я тоже ходил. Но это уже просто для общения с девочками, а вот драмкружок – это было по зову сердца. У нас там руководителем был студент театрального института, который меня привечал.

Много было девочек?

Много. Драмкружок – это женское дело.

Дома к этому спокойно относились?

Да, да. В этом смысле я был достаточно надежен. Ну, потом были девочки гипроградовские, с которыми мы жили вместе, девочки из школы, которых допускали только на занятия драмкружка и бальных танцев. По улице гуляли вместе.

Номер вашей школы в Киеве?

24-я школа.

24-я школа, это где?

Воровского сейчас, возле Сенного базара.

И Вы пошли туда в какой класс?

Туда я пошел... Ну, считаем: мы приехали в 44-м году, пятый класс, наверное, пятый-шестой класс. Ту школу я и окончил.

И с пятого же класса был драмкружок?

Да, драмкружок был с этого времени, и это было главным моим страстным увлечением и в университете.

А в школе кого приходилось играть?

В школе даже не припомню.

Самое яркое впечатление, связанное со школьным драмкружком?

Самое яркое впечатление, связанное со школьным драмкружком... Вот не помню, что это была за пьеса, пьеса явно не перво-разрядная, но я там играл немецкого офицера какого-то, который допрашивает партизан и ещё что-то такое. В общем, весьма неприятная роль.

Там могло быть вкрапление немецкого языка. Какой язык Вы учили в школе?

Английский.

А давайте, Вилен Сергеевич, ещё поговорим о школе. Итак, Вы учились в 24-й школе у Сенного базара...

Сейчас на том месте уже школы нет, там какое-то другое учреждение. Если ты представляешь себе угол Обсерваторной и Воровского, там была резиденция генерального прокурора Украины, а рядышком такой палисадничек нашей школы. Прокурором главным Украины был тогда Ковпак.

Тот самый?

Тот самый, Сидор Артемович Ковпак. И вот помню, директор как-то разъяренный к нам в класс приходит, а наши окна как раз выходили в этот палисадник, и говорит: «Вот, Сидор Артемович Ковпак мне принес записку. Он, сидя в своем кабинете, подсчитал, сколько вас, разгильдяев, выскакивает через окно на улицу». Довольно хулиганская у нас была компания, я-то еще не так, но в общем считалось правилом хорошего тона иметь ножи.

Пошесть такая послевоенная, да?

Именно послевоенная. У нас имелись взрыватели от мин, мы лазили в руины красного университетского корпуса, там были склады оружия, снаряды, пистоны. Причем мы их очень активно использовали в классе, отапливали у нас в классе буржуйкой – такая печка крутая и в окно труба.

В школе не было централизованного отопления?

Нет. И вот перед началом урока запал бросался в эту самую печку, и где-то через пять минут после начала урока ревел взрыв, печка подсакивала, все трубы вываливались. Ну и все, один-два урока уже были гарантировано сорваны, нас всех выводили из этого класса, пока там проветрят, пока дым оттуда уйдет.

Это была мальчишья школа?

Да... А потом в класс приходил директор и устраивал обыск, а из наших карманов вываливались пачки сигарет и ножи.

У вас директор был бывший военный?

Да, бывший военный, он очень сурово за нами следил. Школа была довольно хулиганская, впрочем, как все мужские. Выделялся у нас только один класс. Я учился где-то в десятом классе, а в седьмой класс пришел Сережа Хрущев.

Сын?

Да, сын Никиты Сергеевича.

Он, по-моему, потом историком стал?

Нет, физиком. Историк – дочка Хрущева, Рада, она училась в 13-й школе. Раду я знал, она была секретарем комитета комсомола в 13-й школе, а я – в этой 24-й.

Сережа моложе Рады?

Да, это младший сын. А жена Хрущева, Нина Петровна, была председателем нашего родительского комитета, мы её часто видели в школе. Такая простецкого вида была бабулька.

Вот этот класс Сережи Хрущева был у нас единственный в своем роде, их всех заставили ходить в школьной форме и постричься наголо.

Как это наголо?

Ну, без волос.

Полностью? Что, «под ноль» стригли?

«Под ноль». Борьба со вшами...

В каком это классе было?

Ну, он в седьмом классе был.

А Вы?

Мы в десятом, мы плевали на это требование. У них была Вера Осиповна, физику преподавала, такая очень крутая дама, поставленная классным руководителем. Этот класс строем выходил на переменку, строем заходил обратно. Мы все бегали, смотрели на них, как на детей из зверинца, но нам объясняли, что там же Сережа Хрущев учится.

А Сережа Хрущев что из себя представлял?

Ничего особенного не представлял. Кстати, Хрущевы, и Рада и Сережа, вели себя очень скромно, в этом смысле их воспитывали правильно. Жил-то Хрущев очень далеко от школы. Сережу – это мы, конечно, проследили, – подвозила машина, которая

останавливалась за три квартала от школы. Три квартала в школу он пилял пешком, без охраны, без ничего, шел, как все школьники, на занятия.

Вилен Сергеевич, а были ли вот тогда у вас в классе ребята, родители которых вернулись из мест заключения?

Не знаю, этот круг не обсуждался никак. Я, собственно, и сам себя ощутил принадлежащим к нему только в конце университета. И вообще в мои школьные годы речи об этом не было.

Ну, на уроках истории никогда и никак?

Да, да. На уроках истории нам рассказывали о врагах народа.

А аресты 46-50-го годов вашего круга не коснулись?

Нет.

И в классе, и в ближайшем окружении ничего такого не было слышно?

Нет.

А киевские погромы? Вот погром 48-го, 49-го года?

Ты знаешь, я абсолютно этого не помню.

Скажите, пожалуйста, знали Вы тогда что-то об образовании государства Израиль?

Ну, об этом знали те, для кого это было актуально.

В вашем окружении, в школе или дома, не было тех, кто тогда уезжал?

Нет.

Следовательно, можно предположить, что в то время, если какое-то событие не касалось человека непосредственно, оно для него просто не существовало?

По-видимому, для меня тогда так и было.

А как вообще тогда узнавали о событиях в мире?

Ну, только радио.

Политинформации в школе у вас были?

Ты знаешь, я что-то не помню даже.

Видимо, политика Вас тогда не интересовала?

Ты знаешь, в том-то и дело, что нет. Мы как-то жили своей мальчишеской жизнью, своими интересами.

А как Вы вступали в комсомол, помните?

Нет, не помню. Это была формальная норма, всем надо было быть пионерами, всем надо было быть комсомольцами. А дальше меня выбрали секретарем комитета комсомола. Помню об этом, потому что директор меня за что-то ругал перед всем классом: «Ты секретарь комитета комсомола, а вот по физике и химии у тебя такие-то оценки, не пятерки, а хуже».

Хуже – это четверки?

Да. Конечно, секретарь комсомольского комитета школы – это должность, она обязывает, но вообще-то эта комсомольская корона меня не тяготила. В последние школьные годы я был довольно беззаботен и счастлив.

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вилен Сергеевич, итак, в перспективе Вы видели себя студентом театрального института. А что произошло потом, почему Вы в театральный не поступали?

В последнем, десятом классе, как-то я начал несколько серьезнее относиться к себе самому, и поверил маме, что вряд ли из меня получится гениальный актер. Я согласился с тем, что пребывать на вторых ролях в мире искусства – вещь малопривлекательная. Не захотелось. А философия возникла, честно говоря, случайно.

И как же на вашем горизонте возникла философия?

Ну, разве что на фоне всех гуманитарных моих склонностей и интересов...

Может быть, повлияла какая-то книга или какой-то автор?

Нет, повлияли друзья, и, в частности, Миша Красовицкий. Мы с ним сдружились еще в школьную пору на ниве пионерлагеря. Это тоже была значительная полоса в моей жизни – пионерские лагеря, причем, естественно, не детского периода, а когда я уже был в девятом-десятом классе. Маме давали путевку в пионерлагерь, и ехать мне или нет, не обсуждалось, естественно, ребенку и воздух свежий нужен, и питание.

А где были эти лагеря?

Это был лагерь в Ирпене, причем, поскольку я был великовозрастным «пионером», меня и мне подобных, которые попадали туда, назначали помощниками вожатых.

А Вы уже были комсомольцем к тому времени?

Да, да, комсомольцем был. В лагере я был, по сути, вожатым в кругу вожатых. И вот там я познакомился и подружился с Мишей Красовицким. Он был на год старше меня.

И в той же школе?

Нет, он учился в другой школе, мы в лагере познакомились, в лагере подружились. А он, надо тебе сказать, был врожденный педагог. Он впоследствии и стал доктором педагогических наук, на этой ниве вся жизнь его прошла. И кстати, все годы университетские мы вместе с ним летом ездили зарабатывать деньги, работая вожатыми в пионерлагере. Именно там и сложился круг моих друзей. И вот все общение с Мишей на протяжении моего последнего года в школе было наполнено его восторженными рассказами о том, как интересно учиться на философском факультете.

А Вам до поступления случалось бывать в университете?

Нет. Во время войны же красный корпус пострадал, кажется, сгорел... Когда я в 49-м году поступил на философский факультет, красный корпус только-только начал функционировать.

А философский факультет был в красном корпусе?

Да, в красном корпусе, на первом этаже, в правом крыле.

Был историко-философский факультет?

Нет, историко-философским он стал после нас. Был чисто философский факультет с отделениями диамата и истмата, логики и психологии – три отделения.

Кто был тогда деканом?

Авантер такой был, логик. Причем, престижными у нас считались диамат и истмат, за ними шла логика, лишь потом – психология. Надо сказать, что вообще ситуация с вузами тогда существенно отличалась от нынешней.

Как восприняли ваше решение дома? Все были за?

Да спокойно восприняли, решил поступать – и слава Богу. Университет – не театральный институт. А вступительные я сдал на все пятерки.

А что именно Вы сдавали при поступлении?

Ой, много было всего: сочинение, русский и украинский язык письменно и устно, география, история. По-моему, пять экзаменов. Ну, иностранный, конечно, английский.

Конкурс был большой?

А конкурса тогда, как помнится, вообще не было. Понимаешь, это же послевоенные годы, детей и молодежи, окончивших школу к тому времени, не очень много было. Количество поступающих, я думаю, было примерно равным количеству свободных мест. Я помню, когда наш класс закончил школу, и мы через некоторое время встретились с директором, то он очень переживал, что вот весь наш класс поступил в серьезные вузы, а один мальчик не куда-нибудь, а в Одесский мукомольный институт. Директор считал это непрестижным для репутации школы. В общем, ситуация была такая, что мы как бы автоматически переходили из школы в вуз. Собственно, конкурс у нас на факультете был уже внутри, между отделениями. Вот мой соученик Костя сдал вступительные немного хуже меня, и его не взяли на отделение диамата-истмата, а зачислили на отделение логики.

Среди поступивших школьников было много?

На моем курсе их уже было большинство. Но были и постарше, те, что прошли войну.

И много у вас таких было?

Человек пять, среди них, кстати, Анатолий Нелеп и Вася Черненко, о котором речь впереди... Керчицкий еще был такой, он потом, по-моему, в Донецком университете работал. То есть, были, но их уже было меньшинство. Основная масса все-таки были школьники.

А кстати, кто еще был на вашем курсе?

Ну, Игорь Бычко.

Был вашим сокурсником?

Да. Ну, вот этот самый Шпак. Понимаешь, мне очень трудно говорить о сокурсниках. Саша Левицкая сокурсница моя, Вера Яценко.

Вера Геннадиевна? Как ее девичья фамилия?

Рождественская. Саша Яценко – ее муж.

А много вас было на курсе?

Да, довольно. Две группы, группа диамата и группа истмата, примерно по двадцать человек. Факультет был большой, вполне солидный факультет.

А как разнились между собой три его отделения?

Только по набору предметов, которые там читались.

А вот интересно, что у вас читалось на первых курсах? Какие были предметы?

Диамат, истмат, история философии и широчайший спектр всех прочих дисциплин. Нам читали всеобщую историю и историю Украины, физику, латынь мы учили.

Греческий?

Нет, греческого не было. Латынь и английский. Ну, другие иностранные: немецкий, французский.

А вот то, что читали уже в годы моего студенчества: биологию, физиологию?

Читали, читали, языкознание читали, физику, математику.

То есть это очень старая традиция?

Да.

Курсы, конечно, только обязательные.

Да, да, только обязательные.

А посещение обязательное?

Обязательное, с проверками.

А кто вас учил?

Ну, Еневич, Федоренко, Аветисян. А вот из таких, кого приятно вспомнить, Клава Руденко логику читала, вот она читала и Авантер.

Смотрите, она уже тогда читала?

Да, она тогда совсем молодая была.

Это был курс формальной логики?

Да, что-то она читала, а что-то Авантер, курс ведь очень большой.

Математическую логику не читали тогда?

Нет, матлогику не читали. Высшую математику Гнеденко читал. Физику и химию нам еще читали. Химию, кажется, тогдашний ректор.

А химика знаменитого, Павлова, Вы знали?

Нет.

А логик Павлов был уже на факультете?

Был, но нам не читал.

Тоже, наверное, молодой совершенно?

Конечно, те, которые потом читали и у вас, в мое время были молодыми, начинающими. Вот, Дмитриченко с курсом истории философии.

Он уже был преподавателем?

Да. Но в основном нам этот курс читал Аветисян. Кстати, на последних курсах, уже аспирантом, нас поражал Шинкарук.

Он был много старше?

Собственно, когда я поступил на первый курс, Шинкарук и Ничик учились на пятом.

Они однокурсники?

Да, однокурсники: Гончаренко, Шинкарук, Ничик.

Вилен Сергеевич, а круг вашего общения на факультете?

Круг моего общения не замыкался на моем курсе. В него входили студенты постарше.

На курс или на два?

В основном, на курс: Попович, Крымский, Мазепа.

А Пашкова? Или она намного старше?

Пашкова намного старше. Я её не помню как студентку; когда мы были на старших курсах, она уже начинала преподавать.

А кто у вас латынь читал?

А латынь преподавал старичок такой Зинкевский, очень интересный был дедушка. Во-первых, он был глухой, с аппаратом. И вот, когда отвечающий начинал говорить какую-то чушь, он, так мило улыбаясь, говорил: «Я отключаюсь». И потом, у него была совершенно оригинальная для того времени схема оценивания, похоже, он был пионером современной рейтинговой системы. Вот ты ему отвечаешь, он говорит: «Ну, товарищ Горский, вы сегодня

значительно лучше отвечали. Ставлю вам три с двумя минусами, но на лаврах не почивайте». У него была такая шкала: «единица с плюсами», «двойка с минусом», «двойка с плюсом». Очевидно, он в стобалльную систему укладывался с традиционной пятеркой. Мы, правда, все воспринимали это с чувством юмора, но страшно боялись экзамена, ведь если и там наши оценки будут проставлены в его понимании, то уже деканат его не поймет. Оказалось, что он был достаточно здравого разума, на экзамене он ставил оценки сообразно общим требованиям.

А по остальным предметам у вас были, как и у нас, семинары и лекции?

Да, но все семинары с жестким требованием конспектов первоисточников. Правда, это касалось философии, – латыни, кстати, нет.

А на каком языке велось преподавание?

Исключительно на русском. Ну, разве что история Украины читалась на украинском.

А кто вам читал?

Спыцкий.

А Иван Иванович Шевченко вам не читал?

Нет, нет.

Не было его еще. А кто вам читал историю партии?

К сожалению, фамилии не помню, но читал хорошо.

Но преподаватель был не с философского факультета? С исторического кто-то читал?

С исторического Продан вел семинары, с кафедры истории партии. А лекции – не помню.

Вилен Сергеевич, а Острянин тогда читал, он был тогда?

Острянина на факультете я не знал вообще.

Как же это могло быть?

А он тогда еще, наверное, не приехал из Харькова. А если и приехал, то работал в Институте философии. Он же в университет пришел, когда Копнина из университета на директорство в институт перевели. Они с Остряниным, так сказать, местами поменялись. Но это было уже гораздо позже.

А психологию вам, диаматчикам, читали?

Да, завкафедрой психологии Раевский.

А Марисова была тогда на факультете?

Была, но она нам не читала.

А научный атеизм вам читали?

Да, Аветисян, впрочем, нет, Танчер Владимир Карлович. Аветисян читал нам историю философии. Вот он о Гегеле говорил, что у Гегеля «нышто» переходит в «нышто», а мы никак не могли понять.

Вилен Сергеевич, а вот в курс истории философии, скажем, неокантианцы, неогегельянцы входили или нет?

Нет, практически история философии как курс оканчивалась классикой.

Марксизмом?

Да, немецкая классика, потом марксизм. И на фоне марксизма говорили о критике современной буржуазной философии. Но все это было за пределами досягаемости, за сферой доступности, и поэтому актуального смысла для нас не имело. Немецкая классическая философия: Гегель, Фихте, Кант, Шеллинг, Фейербах – вот практически и все.

А романтиков как-то изучали, или это было не существенно?

Почти нет.

Эстетика читалась?

Ты знаешь, я не помню этого курса.

А этика? Может быть, и курсов таких не было?

Я боюсь сейчас сказать. Вот не помню я их, может быть, и не было.

А вот такого курса – ну, курса или какого-то вкрапления в курс отечественной философии, о старом университете, о его традициях никто из преподавателей не читал?

Нет. Вообще вся украинская философия входила в историю философии СССР, и она изучалась на уровне, ну, скажем, азиатской философии.

И сколько фигур было: Шевченко, Франко, кто-то еще?

Да. Ну, еще материалисты-ученые, типа Мечникова, и так далее.

Об идеалистической отечественной философии вы знали?

Об идеалистической философии не знали ничего. Вообще надо сказать, что и перечень предметов, которые нам читались, и их содержание на девяносто процентов определялись идеологическим статусом философии, который она тогда имела.

Вилен Сергеевич, а теперь давайте поговорим о повседневной студенческой жизни.

Об этом – с радостью.

Скажите, пожалуйста, студентам платили стипендию?

Да, платили, и довольно пристойная была стипендия. Во всяком случае...

...на нее как-то можно было жить?

Да, с огромным трудом. Я расскажу тебе такой забавный эпизод из нашей тогдашней повседневности. Университетское общежитие находилось там, где теперь Институт философии. На всех четырех его этажах жили студенты, не все, конечно, а только те, привили-

гированные, которым давали место поближе к университету. Отличники, ветераны войны, инвалиды. Вот, например, Шинкарук в свое студенчество прожил пять лет в комнате, которая как раз находилась напротив его будущего директорского кабинета. Так вот, в этом общежитии на первом этаже была столовая. В этой столовой на столах всегда стояли горчица, соль и хлеб. Так выглядел, так сказать, шикарный университетский сервис. Так вот, за несколько дней до получения стипендии и горчицу, и хлеб со столов предусмотрительно убирали, потому что самый распространенный завтрак выглядел так: покупалась большая чашка чаю, по возможности с сахаром, дальше мы садились за стол, брали, так сказать, бесплатный хлеб, намазывали его бесплатной горчицей, посыпали солью и ели до полного удовлетворения.

Из вашего курса кто-нибудь жил в этом общежитии?

Да, жил Яценко Саша, и мы к нему часто ходили. Жил Павел Шевченко, он был слепой, ему даже отдельную комнату дали. И жил там еще болгарин, Миша Бычваров, он учился со мной в одной группе.

То есть у вас учились и ребята из других стран?

Да. Но только из Болгарии и Чехии. Вообще болгар было довольно много в университете. Было два чеха, но они старше, они учились с Поповичем, а у нас только один Миша Бычваров. И как-то мы с ним с первого курса сблизились, и, пожалуй, это был один из самых моих теплых и близких друзей на протяжении всей учебы. Да и потом, после окончания он сыграл большую роль в моей судьбе в связи с возвращением в лоно философии.

А скажите, свои лидеры на факультете были? Не формальные, не партийные, не комсомольские? Скажем там, первая красавица факультета, или самый выдающийся факультетский спортсмен, самый умный студент? Вот что-то такое у вас было?

Я не сказал бы обо всём факультете, но вот в кругу тех людей, с которыми я общался и с которыми был близок, был лидер – Вилен Черноволенко.

Это партийный лидер был, комсомольский.

Не в этом дело, к нему действительно с уважением относились. Очень уважали еще Юру Новикова, Поповича.

За что? Они были в каком статусе?

Критически мыслящие, люди с гибким умом.

А как это выносили преподаватели?

А это существовало за сферой преподавания. Из спортсменов у нас очень гордились Игорем Карнауховым, который входил в состав сборной команды всего университета по волейболу.

А кто был первой красавицей факультета? Вообще были вот такие девчонки, которых считали записными красавицами?

Не знаю, я как-то в это не вникал.

Ничего такого не запомнилось. Стиляги у вас на факультете были? И тоже не было.

А вообще тогдашнее движение против стиляг Вы помните?

Движение-то я помню, но это для нас тогда, скорее, из сферы литературы было, из сферы газет.

На факультете ничего такого не было?

На нашем-то? Нет, на факультете не было. Он был достаточно идеологически строгим, в общем-то, серым.

И представить себе человека, который там бы своей одежкой выделялся...

Трудно.

А что пели тогда, ну, за исключением того, что было по радио? Был у вас песенный факультетский фольклор?

Вот из старого университетского фольклора любили Сотова «От зари до зари...»

А его знали?

Да, знали и пели. Хотя о старом университете как таковом, о его там персонах и традициях, как я уже говорил, не было особой речи, только на уровне песен.

А ваш драмкружок?

Да, конечно, я же тебе рассказывал, что мы с моим другом, к сожалению, теперь уже покойным Мишей Красовицким, были страшно увлечены театром. Наш театральный коллектив философского факультета славился на весь университет. Миша Красовицкий там был главным режиссером, а я у него был, так сказать, ведущим актером.

И кого же Вы играли?

Теперь уж и не припомню.

А что ставили?

Я помню, по Нушичу был отличный спектакль.

А из современных западных драматургов кого-то ставили?

Нет, нет.

А Брехта знали тогда?

Брехта знали.

Ставили или нет?

Не ставили, но знали и почитали. Это была, так сказать, классика зарубежная: Хемингуэй и Брехт.

Знали все-таки. А что-то вроде самиздата у вас ходило по рукам?

Что ты, ничего такого.

В филармонию бегали?

Да, на Рахлина.

Ну, Рахлин здесь, в Киеве, был почти как дома.

Да, на симфонические концерты в филармонию мы ходили регулярно.

А кто-то из великих приезжал тогда в Киев?

Нейгауза я слушал, Рихтера.

И другие ваши студенты ходили? Дорогие билеты были?

Нет, цены доступные студентам. Вообще тогда в театр и филармонию по деньгам нетрудно было купить, но трудно было достать билеты, настолько много было желающих.

А дома собирались на посиделки?

Не очень. Понимаешь, жили-то все в таких условиях, что и дома-то как такового не было в Киеве у многих. Вот я ходил часто в общежитие к ребятам, там собирались у кого-нибудь. Вместе гуляли. А так просто негде было. Ну, подумай, если я жил с мамой в такой небольшой комнате, где же ты там соберешься? Ко мне всегда приходил Мишка Бычваров, он и ночевал у меня часто. Но широкий круг просто негде там было разместить.

А где же встречались с девочками в таких условиях?

В парке. Вот Игорь Бычко бегал к Аде через Соломенское кладбище, там же укромные места были.

А когда Вы стали бегать встречаться?

Тогда же, в студенческие годы. И при всем этом жить было интересно и весело. Может быть, потому, что мы были молоды.

Вилен Сергеевич, какое самое яркое событие во времена вашего студенчества Вам запомнилось?

Пожалуй, смерть Сталина.

Это ваш четвертый курс. А как Вы это запомнили?

Ну, это было действительно для всех очень значительное событие. У нас на факультете были такие, которые, несмотря на запреты, рвались в Москву, чтобы все увидеть собственными глазами.

С вашего курса?

Нет, не с нашего – те, кто моложе. У нас же формально это было: мы вышли во двор академического корпуса. Снег такой мерзкий падал, я помню.

Это тот двор, который выходил к Ботаническому саду?

Да. Там висел рупор, огромная радиотарелка, похороны транслировали по радио. Вот это запомнилось. Почему-то мы все это воспринимали очень остро. Трудно говорить, что настолько уж прозорливы были мы тогда, но, во всяком случае, переживалось это как серьезное событие в жизни.

В личной жизни?

Представь себе, отчасти да.

Вы чего-то боялись или это была общая неуверенность?

Боялись неопределенности, ведь вокруг Сталина была большая пустота, отделяющая его на пьедестале от всех прочих. И вот когда он упал с этого пьедестала, вернее, пьедестал оказался пуст, то создавалось впечатление, что и вокруг одна пустота.

И этой пустоты боялись?

Боялись.

А кого-то видели за ним тогда вы, студенты-философы?

Нет. Но тогда все было технически отработано и прозрачно. Как только объявили, что первым на траурном митинге выступает Маленков, его и стали прочить в преемники. Причем это не обсуждалось как нечто более или менее желаемое, это воспринималось исключительно глазами наблюдателя как данность.

А как относились к Берию?

Видишь, события совершаются наверху. Внизу они принимаются. И Берию спокойно воспринимали до того, как его разоблачили.

То есть какой-то резкой нелюбви тогда к нему не было?

Нет.

А был кто-то в окружении Сталина, кого бы – ну, я понимаю, что открыто об этом говорить нельзя было, – но кого особенно не любили или особенно боялись?

Не знаю. Ты же понимаешь, вообще мы как-то тогда были несравненно дальше от политической жизни, если посмотреть на нее глазами сегодняшнего дня. Все это воспринималось как происходящее где-то там, в том пространстве, где обитают небожители, которые действуют по своей логике. Ну, а наша задача была только воспринять эту логику, наблюдать ее, учитывать для того, чтобы быть адекватными...

А в вашем окружении личная ненависть к этим «небожителям» была, на факультете за годы учебы у вас были репрессированные?

В ближайшем окружении – нет.

А вот со смертью Сталина произошли ли какие-то перестановки в партийной структуре, в комсомольской?

Нет, внутри ничего не изменилось. К моменту моего окончания университета его руководящий состав практически не изменился. Изменения были после нас – перестал существовать факультет, – но связаны они были уже совсем с другим.

Это было связано с каким-то скандалом?

Насколько знаю – нет. Это был, так сказать, естественный выход из тупиковой ситуации полученной нами профессией, о которой скажу позже. В результате произошло слияние философского и исторического факультетов. Это было соломоново решение, ведь

ликвидировать философский факультет вчистую из-за идеологического статуса философии было невозможно.

Ну, раз речь зашла об идеологии, давайте поговорим о вашей парторганизации.

Знаешь, это была очень жесткая и железная организация, которая довольно серьезно влияла на нашу студенческую жизнь; возглавлял ее некий Коротков.

Студент или преподаватель?

Это студент, участник войны, из старших.

А в чем эта жесткость выражалась?

В разные годы это выражалось по-разному.

Я это ощутил так. Вот в школе роль комсомольской организации была, так сказать, необременительной, ну, ругали за двойки, за плохое поведение и т.д. Когда я пришел в университет, то сразу же ощутил разницу. На первом же комсомольском, вернее, комсомольско-партийном собрании, «разбирали» тех, кто, так сказать, был идеологически неблагонадежен. Мне это как-то сразу напомнило шпиономанию, о которой мы с тобой раньше говорили; кстати, я тогда же четко понял, что теперь уже «шпионов» ловить не готов.

Вилен Сергеевич, а что на этом первом собрании было конкретно, может быть, какие-то фамилии?

Ну, склероз... Женское имя, женщина. Кстати, одна из подруг Шинкарука была. Не помню. Знакомы мы с этими людьми не были, просто присутствовали. И, как правило, те, которых тогда обсуждали, как стало известно нам потом, переставали вообще быть студентами университета. В общем, партийная организация у нас была и инициатором идеологических гонений, и руководителем учебного процесса.

Как часто собирались такие партийные собрания?

Ты понимаешь, я же тогда не был членом партии. Следовательно, я присутствовал только на тех партсобраниях, которые назывались открытыми, партийно-комсомольскими. И они были не часто, но нас впечатляло, что мы сами принимаем участие в обсуждении таких глобальных, серьезных, идеологически весомых проблем.

Не прийти на такое собрание было невозможно? То есть даже в голову никому не приходило?

Конечно.

А комсомольская организация имела свое лицо, или она была лишь нижней ступенью партийной иерархии?

Ну, в общем, свое лицо она имела, помимо того, что она действительно ходила под партийным началом, она организовывала студенческую жизнь как таковую. И, кстати, делала это неплохо. У нас были вечера, собственная самодеятельность, мы организовывали концерты и т.д. Кроме того, у нас великолепные газеты выпускались, например, юмористическая газета «Шиповник». Юра Новиков и Слава Попович были главными её авторами и исполнителями.

А, так вот когда Попович начал свою газетную деятельность!

На этот «Шиповник» смотреть сбегался весь университет, когда он вывешивался. Но все это под неусыпным руководством комсомольской организации.

А кто был ее секретарем?

Имя тебе хорошо знакомо, Вилен Черноволенко.

Еще бы! Тоже Вилен. Он немножко старше?

Он с Поповичем и Крымским учился. Т.е. был на курс старше.

И идеологией Черноволенко тоже занимался?

Да, идеология ведь шла по линии партийной организации.

А Василий Морозов уже был на факультете?

Что-то я не помню такого.

Это, кажется, однокурсник Пашковой, и он, по-моему, возглавлял партийную организацию долгие годы. Но, видимо, это было позже.

Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот борьба с космополитизмом коснулась как-то вашего факультета?

Ну, на официальном уровне это было. Но лично меня не коснулось.

А на вашей памяти кого-либо из преподавателей или студентов арестовали?

Не помню.

Обсуждались ли у вас на собраниях тогдашние известные постановления об Ахматовой и Зощенко?

Да, их изучали и даже прорабатывали. Но каких-то таких непосредственных выводов относительно внутренней жизни факультета за этим не следовало. Разве что Игорь Бычко по этому делу пострадал – в недобрый час переписал какое-то стихотворение Ахматовой и нам давал читать.

А вообще у вас Ахматову и Зощенко знали, читали?

Читали и знали, и любили. И Игорь имел неосторожность переписанные ее стихи давать читать, за что получил выволочку – его обвинили в потворстве сионизму.

Почему сионизму? Космополитизм и сионизм что, не разделялись?

Да, да, не разделялись, это шло в одной струе.

Бычко тогда очень пострадал?

По-моему, нет, но страху мы все натерпелись, ведь было разбирательство.

А кто на факультете был инициатором, «застрельщиком» всех таких разбирательств?

Ну, в первую очередь, это был секретарь парторганизации.

Вот тот самый ваш же студент-философ?

Да. В дальнейшем он, по-моему, в мединституте преподавал на кафедре философии.

А кстати, о преподавателях. Среди ваших, был ли кто-нибудь, кого вы числили, так сказать, в философском авторитете? Ну, такие живые классики.

Из преподавателей – нет. Они были преподавателями, мы учили, мы зубрили то, что сказано, ученически копировали. Первый, кто произвел на нас человеческое впечатление, был Шинкарук.

Молодой аспирант. А чем он вас впечатлил, чем отличался?

Тем, что, придя к нам на семинар по Гегелю, он потребовал от нас и продемонстрировал сам знание самого Гегеля.

А тогда это было диво?

Нет, зачем. Философские тетради Ленина и цитаты Гегеля, которые выписаны были Лениным соответствующим квалификации методом, вполне употреблялись, но считалось, что этого было достаточно.

То есть ваши преподаватели первоисточников даже по истории философии не требовали?

Нельзя сказать, чтобы совсем. Их называли в числе обязательных, мы должны были читать, но практически от нас их прочтения не требовали.

С текстами вообще никто не работал?

Нет.

А какие учебники были?

Ну, по истории философии знаменитый трехтомник, который потом был раскритикован. А по философии, по диамату и истмату, вообще ничего.

Учебники к тому времени еще не созрели. А вообще, что читали студенты философского факультета 49-го года помимо аудитории? Вот те, кто увлекались философией, что читали? Что можно было читать?

Ты знаешь, трудно мне сказать. Я, во всяком случае, к сожалению и стыду своему, не выходил за рамки программы.

Почему, это было неинтересно, это было трудно?

А я тогда еще, собственно, и не знал, что такое философия, и узнал это уже вообще помимо факультета и гораздо позже.

А с первого курса Вы учились как?

На пятерки.

На пятерки. И стипендия была повышенная?

Да.

Короче говоря, программа обучения была построена так, что можно было как бы проходить сквозь философию?

Да. Ничуть её не затрагивая.

А у вас были такие чудаки, которые не проходили сквозь?

Ну, пожалуй, не на нашем курсе, а на курс старше таким чудачком был Сережа Крымский.

А откуда это было известно?

Ну, у нас о нем легенды ходили, что это, мол, тот чудака, который пришел поступать на факультет, прочитав уже всего Гегеля.

В университете Гегель был в свободном доступе?
Ну, старые издания в университетской библиотеке.

Философский кабинет тогда уже был?
Да, был и кабинет, но я не помню, что в кабинете этом было.

А на абонемент тогда студентам книги выдавали или позволяли работать только в читальном зале?

Абонемент был, но я не помню, давали ли на абонемент Гегеля. Где Сережа брал первоисточники, я не знаю.

Я спрашиваю это потому, что у нас в конце 60-х Гегеля да и всю немецкую классику на абонемент не давали. Можно было работать с этими источниками только в читальном зале.

Я думаю, что у нас было то же самое, во всяком случае, я готовился к семинарам именно там.

А были ли какие-то кружки на философском факультете?

Философских, кажется, не было. Были кружки, на которых «отрывались» от скуки каждодневного ученичества. Вместе собирались те, кто летом работал в лагерях, кружок создателей стенгазеты, кружок самодеятельности, мы ездили с концертными программами и лекциями для сельской местности.

И Миша Красовицкий тоже был там?

Да, конечно. А философского кружка не было...

А были ли у вас ребята, которые во внеаудиторное время разговаривали о философии, обсуждали что-то вместе?

Я не помню.

А свадьбы факультетские были? Вы помните?

Но не факультетские, а, так сказать, пионервожатские. Из круга тех студентов факультета, который сложился на основе регулярной работы в летние каникулы в одном и том же лагере. Первой

такой свадьбой у нас была свадьба Саши Яценко и Веры Рождественской, а потом Игоря и Ады Бычко.

Ада Бычко тоже училась на факультете?

Да, на отделении психологии, но она старше на курс. Игорь со мной учился, а она была чуть старше.

Простите мое занудство, но я еще спрашиваю Вас о вашей факультетской философской среде. Скажите, пожалуйста, вот кроме Крымского, в «философских гениях» у вас кто-то ходил?

Затрудняюсь сказать.

То есть овладение философией шло в аудиториях согласно программе?

Довольно скупо и довольно сухо, и честно говоря, в аудитории я выучил только философскую азбуку, а почувствовать философию мне довелось уже гораздо позже.

Вилен Сергеевич, а у Вас никогда за эти первые курсы не было сожаления: ну, пошел не туда?

Нет.

Не было – то есть эта ситуация воспринималась как нормальная и естественная.

Как факультет университетский, где надо учиться, где что-то читают...

...и это надо учить, и надо сдавать...

А скажите, пожалуйста, кто из философов, помимо университета, был тогда у вас на слуху? Скажем, знали ли москвичей, ленинградскую школу?

Асмус.

Поскольку были его учебники?

Да, его учебники, и вообще он котиrowался. Ну, Александрова, естественно, знали.

А еще?

Ну, знали Митина там, Юдина, Иовчука – те имена, которые наши преподаватели произносили часто.

А Деборин?

Деборина не знали, его никто не упоминал.

А Мильнера-Иринина знали тогда?

Нет.

А Бахтина?

Бахтина я открыл для себя гораздо позже.

То есть на факультете все эти имена среди философов как бы не значились?

Да.

А из зарубежных?

Современных знали, опять-таки тех, кого критиковали.

То есть по факту критики?

Да.

А из зарубежных философов можно было кого-то читать?

Нет, не думаю, кроме того, что в открытом доступе зарубежной философии у нас не было, и потом наш университетский английский язык не давал возможности что-либо читать в оригинале.

А Вам никогда не хотелось прочесть критикуемого автора? Или такой ход мысли не возникал вовсе?

Такого не было, ясно было, что его не дадут.

Что его не дадут или что его у нас нет?

Что его нет.

«РЖ» тогда уже выходил или тогда не было этого в заводе?

Не было.

То есть выхода на более широкий философский горизонт не предполагалось?

Нет.

А скажите, вот у вас на курсе учился болгарин, Миша Бычваров. Какие-то связи с болгарской философией тогда были?

И тоже нет. Понятно, что свою отечественную традицию, ну, например, Христо Ботева, Миша изучал, но изучал у себя дома, а если говорил о нем здесь, то говорил примерно так, как мы сейчас говорим об Иване Франко.

Но Христо Ботев, скорее, национальный герой, какая же здесь философская школа?

А что касается философской школы, Миша рассказывал мне тогда, что был у них какой-то Петр, философ, и что он страшно занудный; похоже, это единственное, что Миша тогда о нем знал.

А в курсе психологии, с московской и ленинградской психологическими школами (в Москве – Леонтьев, Ананьев – в Питере) вас Раевский знакомил?

Ну, вот психология Рубинштейна, его школа, об этом нам немножко рассказывали.

Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста, случались ли тогда философские конференции, вот, например, студенческие?

Да, припоминаю что-то... То есть, это не случалось слишком часто, но я помню одну конференцию, на которой читал доклад о Лесе Украинке.

Это была студенческая конференция?

Да, именно студенческая.

Ну, очевидно, Научного студенческого общества (НСО) как такового не было, раз не было философских кружков?

Да, не было.

А что считалось престижным после окончания факультета, куда народ стремился? Чего хотели в идеале, что видели для себя?

Видишь, ведь все дело в том, что не случайно факультет после нас закрыли, потому что мы попали – вернее, мы и наши организаторы вместе с нами, – в весьма тупиковую ситуацию. Дело обстояло так: по идее факультет должен был готовить кадры, специалистов, преподавателей философии. Преподаватель философии даже на самом низшем уровне – это номенклатура как минимум горкома партии, а то и обкома. Состав студентов – вчерашние школьники, в основном беспартийные. Массово принимать в партию студенчество даже тогда не практиковалось. И вот когда дело с нами дошло до четвертого курса, возник вопрос: куда нас девать?

Простите, но вы же не первый выпуск послевоенного философского факультета?

Вот именно, послевоенного. На предыдущих курсах было гораздо больше фронтовиков, а они, как правило, партийные. У нас же их было не больше четырех, а всем остальным просто некуда было деваться, ведь в аспирантуру беспартийных не брали тоже. Проблему решили так. На четвертом курсе нам ввели курс методики преподавания истории в средней школе, на практику нас послали в школу и в областные лекторские бюро общества «Знание» (были такие), и в диплом вписали: «Преподаватель философских дисциплин и истории».

Тогда обществоведения не было еще?

Нет. И, соответственно, назначения на работу мы получили только благодаря новой, так сказать, квалификации – историка.

Весь наш курс таким образом получил назначения автоматически в школы, в лучшем случае, в техникумы, учителями истории. Что касается меня, то несмотря на то, что я хотел в аспирантуру, было понятно, что меня туда не возьмут, ведь я беспартийный, и я психологически был к этому готов. Но не только я оказался в таком положении, у нас же случился парадокс: из всех рекомендованных на нашем выпуске в аспирантуру – а госкомиссия должна была по разнарядке кого-то все же рекомендовать, – ни один из рекомендованных не поступил.

Не поступил или не поступал даже?

Не поступил, не выдержал вступительных экзаменов, потому что у получивших рекомендацию не оказалось даже тех минимальных знаний, которые были необходимы. Итак, все разъехались.

ПО ЗОВУ ПАРТИИ

Вилен Сергеевич, по окончании университета Вы получили диплом с отличием?

Да.

И это все же не открыло перед Вами возможности поступать в аспирантуру?

В общем, аспирантуру закрывали для меня два обстоятельства – моя беспартийность и пятая графа.

А Вы не пытались в университетские годы поступать в партию?

Именно что пытался, но с этим связана вот такая история. В начале четвертого курса я подал заявление в партию. Процедура это была сложная, нужны были рекомендации от всех ступеней комсомольской организации университета, начиная с первичной – курсовой. Потом следовала факультетская, общеуниверситетская, я это все прошел и уже получил финальную анкету для подачи на рассмотрение в партийный комитет, и вот тут начались сложности.

С чем они были связаны? С пятой графой?

Нет, с моими родителями. В этой анкете я должен был подробно написать о них.

Кстати, папа, естественно, был членом партии?

Да.

А мама?

Мама нет. И, главное, факт того, что папа был репрессирован, как оказалось, мама от меня скрывала. В детстве для меня был создан такой миф: папа жил в Харькове, потом он уехал в Москву, погиб же на Финской войне. Причем этот миф поддерживался и во время моего поступления в университет. Я об этом же писал там в автобиографии.

А это было возможно, за мамой шлейф не тянулся?

Представь себе, нет. Может быть потому, что у неё фамилия другая была – Кричевская. Может, еще почему-то. Но я сам узнал правду об отце от неё же только тогда, на четвертом курсе, когда показал ей партийную анкету. Видимо, она понимала, что скрывать на этом уровне факт того, что я сын репрессированного, было уже нельзя, да и просто опасно. Итак, мама, так сказать, поправила мою партийную анкету. И с этим я пошел в комитет комсомола вносить соответствующие изменения. Секретарем комитета комсомола тогда был у нас Игорь Карнаухов.

И как он это воспринял?

Ты знаешь, очень спокойно. Он это сообщение выслушал и все.

А как Вы ему объяснили, что Вы до сих пор ничего не знали?

Да как было, так и объяснил.

И что было дальше?

А ничего. Просто процесс моего поступления в партию приостановился. Это было сразу после смерти Сталина, но до доклада Хрущева на XX съезде партии было еще далеко.

Он просто приостановился или остановился вообще?

Нет, остановился.

Но доучиться Вам дали?

Да, разве что назначение не аспирантское для выпускника с дипломом с отличием.

Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста, как Вы думаете, если бы Вы в своей вступительной анкете в университет написали об отце так, как в партийной анкете, Вы стали бы студентом?

Не уверен.

На вашей памяти на факультете были дети репрессированных? Такого я не знаю.

То есть можно предполагать, что Вы проскочили эту ступеньку?

Может быть, да. Во всяком случае, во время моей учебы органы мною, повидимому, никогда не интересовались.

А после этого, до реабилитации отца?

Тоже как-то нет.

А когда же Вы все-таки вступили в партию?

Довольно скоро и легко. Я окончил университет буквально через год и получил распределение в такое местечко – райцентр Новая Одесса в Николаевской области. Там я подал заявление в партию и здесь уже сразу написал все как есть. И помню, на бюро райкома меня только спросили,

сколько лет мне было, когда арестовали папу? Но я сказал, что я же 1931 года рождения, следовательно, мне было пять лет. Меня приняли кандидатом в члены партии. Это уже был 1955 год, до XX съезда было еще далеко, но настрой в партийных органах уже был очевиден.

А Вы точно помните, что это было до XX съезда?

Да, потому что я еще не был на том закрытом партийном собрании, где зачитывали доклад Хрущева, при том, что был уже

кандидатом в члены КПСС. А вот еще через год, когда я стал членом партии, то пришел в райком, и мне дали там, на месте, этот текст уже как члену партии, мне ведь было очень важно с ним ознакомиться... Так что членом партии я стал еще до реабилитации отца.

Вилен Сергеевич, Вы сказали, что аспирантуру для Вас закрывала еще пятая графа, это было как-то озвучено, сформулировано?

Да, она действительно помешала мне при получении аспирантского назначения. И это сформулировано было почти открыто, тот же Дмитриченко мне говорил: «Хотя ты толковый парень, но об аспирантуре для тебя речь идти не может».

У вас еще были еврейские ребята на курсе?

Да, были.

И как сложилась их судьба с распределением?

Да так же. Но, впрочем, распределение в сельскую школу в свое время получил не только Крымский, но и Попович.

А куда получили назначение Вы?

А вот в городочек Новая Одесса в Николаевской области, собственно, это райцентр. Вот туда в школу учителем истории я и поехал.

Довольно далеко от Киева.

Да, конечно. На выходные домой не приедешь.

Мама осталась в Киеве одна?

Да. Я оставил её в августе, а в сентябре вернулся её хоронить.

Как это?

Вот она меня растила после смерти отца, она не строила никакой семьи и, очевидно, смысл жизни был вырастить меня. Тут, к сожалению, такой трагический символ – я окончил университет, получил назначение. Она же последние несколько лет болела, у неё

была тяжелая форма диабета. И ее в августе положили в Октябрьскую больницу для профилактики, так сказать.

Я с ней попрощался на лавочке в Октябрьской больнице в сквере, она говорила, что пройдет этот курс лечения, оформит пенсию и приедет в Новую Одессу меня проводить. И вот ее не стало там же в больнице, в сентябре месяце. Выходит, она завершила круг, меня вырастила, поставила на ноги, и ее не стало.

Вам было в это время 24 года.

Да. Ну, мне сообщили, я прилетел в Киев, похоронил её и тогда же встретил на улице Васю Черненко, бывшего однокурсника, о котором я тебе говорил. Тот жалуется – он женат был, у него уже и ребенок, – говорит, думал устроиться работать в школу рабочей молодежи то ли преподавателем, то ли директором школы, а жить нигде, все деньги уходят на съём. Я говорю: «Да ради бога, на тебе ключи...» За квартиру даже сам я платил. Он жил... А потом летом мои соседи забили тревогу, говорят, вот он тут на кухне ведет такие разговоры, что, мол, все равно Горскому, как сыну репрессированного (тогда еще не реабилитированного), места в Киеве не будет, чего ему держать эту самую квартиру, я, говорит, буду претендовать на нее. Соседи подняли страшную бучу и говорят: немедленно – а я женился уже тогда на Тамиле, – помещай сюда свою жену. Ну, я Васе сказал, что все, жена тут будет жить. И Васи в квартире не стало.

Надеюсь, Вы потеряли его из виду навсегда?

Отнюдь. Вася проявился еще раз, при случае расскажу и об этом.

Вы сказали, что к лету следующего года Вы уже были женаты? Где же вы нашли свою жену?

А как раз в Новой Одессе и нашел.

Выходит, не зря вы получили назначение в эти края?

Когда я приехал в Новую Одессу и устроился на новом месте, оказалось, что после работы в школе у меня много свободного

времени. А куда же в Новой Одессе ходить? Естественно, я пошел в библиотеку. Вот любил я читать. И туда ходил регулярно. Там и познакомился.

Она тоже была читательницей?

Нет, она там работала, она мне книги выдавала. Такая строгая библиотекарьша – Тамилас Васильевна, – неполных восемнадцати лет.

Ух, Вилен Сергеевич, Вы были так решительны в свои неполные двадцать пять?

Ну, наверное, это моя судьба. И все решилось в полгода.

А где же вы, кроме библиотеки, встречались? В драмкружке вы тоже были вместе?

Нет. Тамилас Васильевна в драмкружок не ходила. Она была девушка серьезная. Но ты понимаешь, что круг молодых людей в этой Новой Одессе не так уж был велик, естественно было, что мы пересекались с ней часто. Знаковой для нас оказалась совместная встреча нового 1955-го года, где собралась вся наша новоодесская молодежь, и так довольно быстро все это дело получилось, и Тамилас Васильевна стала моей женой. Буквально вскоре поступил сигнал от наших соседей, что надо срочно возвращаться. Я, как ты понимаешь, вернуться не мог, я обязан был доработать еще год по распределению, пришлось послать туда Тамилу, и она бедная, с палочкой, потому что недавно сломала ногу, была брошена в Киев на амбразуру – спасти наше жилье. А я остался тут дорабатывать...

Мужественная молодая женщина...

Представляешь, одна в чужом городе. Более того, ее еще Мара устроила на работу, и она с палочкой, хромая, с больной ногой на Подол ездила на фабрику в библиотеку. Тогда каждая фабричка имела свою библиотеку, и ее взяли там на полставки библиотекарем. Зарабатывала какие-то копейки для проживания. Дрова я ей принес, сложил на нашей той обширной кухне, для того, чтобы

топить. В общем, ей пришлось нелегко, но, слава Богу, это быстро кончилось, я доработал до весны и приехал.

С киевской пропиской у Вас для неё не было проблемы?

Нет, тогда же с этим был порядок. Я-то прописан, а она моя законная жена.

А как вы жили в Новой Одессе этот последний год?

Ну, условия какие были.... По положению, в сельской местности учителя, которые получали назначение, обеспечивались жильем и т. д. Школа сразу же мне сняла у бабушки (забыл уже как ее звали) комнату неподалеку, давала дрова и уголь – бабушка была очень рада этому, – на отопление. К тому же я с этой бабушкой договорился, что за определенную мзду она мне будет еще и готовить, что она и делала регулярно.

До работы Вам было совсем близко?

Да. Буквально один квартал. А центром культурной жизни, как я уже говорил, был районный клуб и наш драмкружок.

В котором Вы продолжали играть и в последний год?

Да, конечно. Как раз тогда мы ставили что-то из Василия Волынца.

А как Вам работалось в школе? На Вас были только уроки истории?

Ох, не только. Я тебе расскажу анекдотический случай. Видишь ли, в этом райцентре молодых выпускников было не так уж много. Понятно, по своей воле туда никто не ехал. Со мной вместе по распределению в Новую Одессу приехал парень, который получил назначение преподавателя английского языка.

Наш же, университетский?

Не университетский, а пединститута. Я это подчеркиваю потому, что у нас-то была военная кафедра, а в «Педе» кафедры не было. Вот он приехал, поработал месяц буквально, и его «забрили»

в армию. И Новая Одесса, Новоодесская школа оказалась без преподавателя английского языка. Тогда директор школы вызвал меня.

Господи, и Вас подрядили читать английский язык?

Представь себе. Ну, я ему говорю: «Ну, как это читать английский язык? Я не специалист». В общем, отказался. Тогда меня вызывают в райком партии, суровый секретарь райкома говорит мне: «Я слышал, что вы не хотите подчиниться мнению партии, вас же посылают преподавать». Я говорю: «Вообще то я не знаток английского языка, у меня другая специализация. Ну, если это мнение партии, то я подчиняюсь, конечно». И так меня, кроме преподавания истории, поставили в девярых-десятых классах вести английский Я, естественно, готовился к нему в сто раз больше, чем к урокам истории.

Самое смешное было вот что: по прошествии некоторого времени приехала инспектор облроно проверять уровень преподавания иностранных языков, и пришла ко мне. Я ее, правда, перед уроком честно предупредил, что я не профессионал, и здесь, так сказать, по зову партии. Она посидела, вышла, говорит: «Знаете, у вас получается не хуже, чем у некоторых профессионалов». И это меня так приободрило, что в первые же летние каникулы, когда я приехал домой в Киев, я побежал в университет и сдал там кандидатский экзамен по английскому.

Вот как все было не зря!

И во всем у меня так.

И что, ни одного случайного шага вообще не было в жизни?

Ты понимаешь, вот что интересно. Я довольно давно об этом задумывался, и в плане жизненных обстоятельств, и в плане моей приверженности к определенным проблемам в области историко-философского исследования. То, что вначале выглядело случайным и незначительным, впоследствии выстраивалось в такой единый целостный ряд, до такой степени, что создается впечатление, что, действительно, все это заведомо было продумано и

разворачивалось со смыслом. Хотя может быть и так, что вот это многообразие самых различных жизненных событий, в которое вовлекает тебя постоянный поток жизни, настолько очевидно формирует тебя, как бы накладывает на тебя свой отпечаток, что все последующее выстраивается в смысловую цепочку и кажется его органическим продолжением...

Вилен Сергеевич, и эта же логическая цепочка привела Вас в Институт философии?

Ну нет, далеко не сразу, до института еще много всего было. Отработав в Новой Одессе положенное, я вернулся в Киев. Надо же было устраиваться на работу, и я занялся поисками. Опять же, чисто случайно я встретил одного своего знакомого по пионерским лагерям, а теперь комсомольского работника, Игоря Беляшенко. Он был завгоротделом в Сталинском райкоме комсомола. Рассказываю ему о своей проблеме, а он мне и говорит: «Знаешь что, меня вот сейчас забирают в армию на переподготовку на три месяца, давай-ка я порекомендую тебя на эти три месяца на мое место. А ты за это время обживешься, и конечно же, мы тебе работу найдем».

Итак, я проработал три месяца на Игоревой должности, работал хорошо, но ведь – пятая графа, и, конечно, о подобном месте для меня речи идти не могло. Единственное, что мне светило при самом добром отношении начальства, – место старшего пионервожатого в какой-нибудь школе. Такое место нашлось в 21-й школе на улице Саксаганского, и я был с этим вполне согласен, потому что там еще часы какие-то обещали дать, историю. Все, вроде бы, складывалось удачно, и вдруг перед самым моим назначением меня вызывает первый секретарь райкома комсомола, с которым у меня, надо сказать, к тому времени сложились отличные отношения, и говорит: напиши автобиографию. Я удивился: «Так я же уже писал». А он так сдержанно: напиши еще раз. Я написал, он посмотрел. Очевидно, он хотел проверить, напишу ли я о том, что отец был репрессирован.

А Вы написали, ну конечно, и тогда, и сейчас. Ну и что?

Это его смутило, видимо, он ожидал скандала. Но все обошлось разговором: иди работай в школу.

А когда вернулся Игорь, он раскрыл секрет. Оказывается, дело было в том, что Вася Черненко написал в райком партии донос о том, что у вас-де в райкоме комсомола работает сын репрессированного. И этот факт он скрывает. Вот так закончилась история с Васей Черненко. А для меня она имела еще одно следствие. После разговора в райкоме моя жена Тамилла настояла, чтобы я немедленно написал прошение о реабилитации отца. На самом деле, как я рассказывал, отец к тому времени был уже реабилитирован, но я-то об этом ничего не знал. Мысль о прошении реабилитации отца мне как-то даже в голову не приходила, зачем, я что, и так не знаю, что мой отец честный человек? Но после этого случая понял, что писать надо. Написал, и вскоре получил ответ, что отец уже реабилитирован по ходатайству его брата.

И так Вы узнали еще о папином брате?

Да.

Итак, Вы получили работу. Вам денег на жизнь хватало?

Конечно, нет. Ведь у нас с Тамиллой никакой реальной помощи ниоткуда не было, а зарплата и у нее, и у меня – предельно маленькая, у жены только полставки библиотекаря. Год я поработал старшим вожатым, а потом меня сразу забрал районный Дом пионеров. И там мы создали Клуб юных коммунаров.

А что это такое?

Довольно интересная штука. Старшеклассники, дискуссионный клуб. Мы ездили в лагеря, пели песни хором, дискутировали по каким-то общим культурным вопросам.

Это то, что потом выросло в Общество старшеклассников при киевском Дворце пионеров, надо полагать? Вот из этого движения оно выросло?

Дворец пионеров – это уже нечто большое, а мы были в районном Доме пионеров. Но, во всяком случае, этим ребятам какая-то искорка заброшена была в душу, потому что когда много позже я уже перестал этим заниматься, они довольно долго поддерживали со мною контакт.

Это какой район?

Это Сталинский был район, Дом пионеров находился там, где сейчас предварительные железнодорожные кассы, возле памятника Щорсу.

Поработал я там годик, но надо же было зарабатывать деньги. Я нашел еще один, так сказать, путь – экскурсии по Киеву. Общество «Знание», автобусные экскурсии по Киеву. Их обычно водили от Киевского вокзала, там автобусик был, такая себе обзорная экскурсия.

Вас специально учили?

Никто не учил, сам учился, но у нас там принимали экзамены. Во-первых, это давало хорошее подспорье материальное. Там пару лекций проведешь, и для нас это уже была заметная материальная поддержка.

А курс таких лекций Вы должны были разработать сами?

Ну, не совсем. Там, конечно, были какие-то методические пособия, был маршрут разработан, а о чем говорить, я должен был подготовить сам. Более того, надо было сдать экзамен, причем экзамен такого рода: вы на площади Богдана Хмельницкого заводите их во двор Софии и проводите экскурсию по Софийскому собору.

С экзаменаторами?

Да, сдавая экзамен сотрудникам Софийского музея. И сдавать экзамен сотрудникам Лавры надо было. Кстати, после того, как я сдал этот экзамен, мне сразу же предложили временную работу в Софии.

А кому сдавали экзамен, не помните?

Помню. Саша Долинский, Ирма Тоцкая.

Вот где всплывает Ирма Фантиновна! Значит, это она была в экзаменаторах по Софии?

Ну, экзаменатором был Долинский Саша, он был замдиректора института, а она тогда была молодым экскурсоводом. Долинский в это время оставался исполняющим обязанности директора (директор где-то был в отъезде). Вот он меня пригласил и говорит: «Идем сейчас на временную работу к нам летом, ну а потом мы тебя оставим». Конечно, я очень обрадовался, еще бы, работать в Софии, быстренько ушел из своего Дома пионеров, и стал в Софии сотрудником. Поработал я, но вернулся директор, посмотрел мою анкету, устроил вздрючку Долинскому.

Из-за репрессированного отца? Так он же уже реабилитирован был? Нет, тут не реабилитация, тут пятая графа.

И графа все решала?

Да. Пришлось мне вернуться в Дом пионеров. Но там место уже было занято, и я пошел работать в Шевченковский дом пионеров, работал там, опять же, с юными коммунарами. И водил экскурсии по городу. Вплоть до конца 63-го года.

То есть это целых пять лет вот так прошло?

Да, целых пять лет.

Вилен Сергеевич, как в эти пять лет выглядело ваше родственное окружение?

Ну, вот мои родственники, Сара Львовна...

Они еще тогда были живы?

Да, и они, так сказать, проявляли всяческое сочувствие нам. Собственно, это были единственные родственники, с которыми мы общались. И еще моя сестра Мара.

А со стороны Тамилы Васильевны?

А у Тамилы Васильевны есть брат и сестра младшие. Она самая старшая. Тогда ее брат служил в армии, а сестра окончила школу. Я ее выпускал... Ну, и родители в селе под Новой Одессой.

Они могли вам чем-то помочь?

Они присылали посылку: яички, пересыпанные семечками. Вот это и вся помощь была. Единственное что – летом мы к ним отдыхать ездили, и это уже не только отдых был, а и помощь с Сережей.

А когда у вас родился Сережа?

Сережка не сразу, в 58-м году.

И что же, Вилен Сергеевич, по-вашему, с момента окончания университета и до 1963 года все ваши жизненные обстоятельства не случайны, а складываются в ту самую, упомянутую Вами цепочку?

Конечно. Все начиналось далеко от меня, как бы по зову партии, а привело меня, в конце концов, к тому, что стало моим внутренним и личностным делом жизни в Институте философии.

ОСТРОВ СЧАСТЬЯ

Итак, Институт философии. Надо думать, что к 1963 году из ваших мытарств по путям, далеким от философии, Институт как некий остров в бурном житейском море возник перед Вами с некоей неотвратимостью, необходимостью, иначе как бы и быть не могло.

Отнюдь. Этот остров, как ты правильно заметила, опять-таки возник передо мной совершенно случайно, казалось бы, по чисто внешнему обстоятельству, и обстоятельством этим оказался мой университетский дружок, Миша Бычваров, о котором я уже рассказывал. Именно в 1963 году он из своей Болгарии приезжает в Киев.

Кем он стал к этому времени, как сложилась его доля?

А сложилась его доля так. После окончания нашего факультета он вернулся домой, в Болгарию, и там сразу же стал преподавать философию в вузе.

У него, как говорил Райкин, с графой и с анализами все было в порядке?

Все было в порядке, тем более он выучен в Советском Союзе, а это в тогдашней Болгарии был статус. К тому же, он хорошо владел русским (за пять лет учебы у нас он выучил его в совершенстве). Тодор Павлов, тогдашний первый секретарь болгарской

компартии, сразу забрал его в ЦК, в свой отдел. А надо сказать, что в то время именитые советские философы, преимущественно московские, очень любили наезжать с командировками в Болгарию. И русскоязычного и философски образованного Мишу естественным образом делали их сопровождающим. Так за короткое время Миша перезнакомился почти со всей нашей философской элитой; учитывая Мишину контактность, он был с ними как бы на дружеской ноге. Среди этой советской философской когорты был и Павел Васильевич Копнин. И вот в 1963 году Павел Васильевич в качестве ответной благодарности организовывает для Миши поездку в Киев. Для него такая поездка была невероятной удачей, ведь со времени окончания университета он здесь ни разу не был. Миша приехал, сразу же прибежал к нам и страшно возмутился, что я нахожусь в стороне от философии. Ну, я ему объяснил свою «родовую ситуацию». И тут опытный дипломат Миша делает такой ход. При очередной беседе с Копниным он ему задает вопрос: «А как у вас здесь дела у Горского?» Копнин спрашивает: «А кто это такой?». Мишка ему: «Как, вы не знаете, кто такой Горский?»

Ой, какой молодец!

«Да это же...» – и начал петь мне дифирамбы как лучшему студенту факультета и как серьезному ученому. Более того, ввернул здесь, что он со мной занимался исследованием украинско-болгарских философских связей.

А вы действительно этим занимались?

Ну, если считать, что иногда в беседах мы как-то касались этого вопроса, то он был, так сказать, где-то не совсем уж неправ. И так Копнин заинтересовался мной.

Вилен Сергеевич, чуточку приостановимся. Значит, речь идет о 63-м годе. А кем тогда был Копнин и где он был?

В 63-м он уже был директором нашего Института философии. А до того он в Киеве успел поработать в Политехническом институте и побывать деканом философского факультета университета.

До этого времени вы его не знали?

Нет, не знал. Где-то в мае-июне месяце 1963 года он пригласил меня к себе, и разговор у нас был такой. Он говорит: «Ну вот, значит, давайте договоримся так. Вы работаете вместе с Бычваровым над написанием книги об украинско-болгарских философских связях. Если вы сделаете эту книгу, институт книгу к печати рекомендует, и это будет достаточным основанием для того, чтобы взять вас к нам».

А каким вы его запомнили тогда? Ведь запомнили же, наверное, Копнина? Первый раз видели.

Да. У меня осталось очень хорошее впечатление.

Он молодой тогда был?

Молодой был. Высокий, молодой, московский говорок такой.

Барин или нет?

Барин, но обаятельный барин, вот какой-то он такой был.

Он отличался от наших?

Существенно. Ну, с одной стороны, это явно была фигура: барин, интеллектual, ученый, и вместе с тем совершенно без апломба, какой-то очень человечный в общении со всеми. Такая деталь. Через несколько месяцев после этого нашего разговора мы с Тамилей случайно с ним столкнулись на перроне вокзала. Он сам нас остановил, начал расспрашивать о житье-бытье, и так далее. Вот такая форма общения – подчеркнуто на равных – для него была характерной, но это стремление к равенству демонстрировал все же интеллектual и светский человек.

А Бычваров к тому времени уехал?

Да, уехал, это было через несколько месяцев, буквально накануне моего прихода в институт.

Ну, Вилен Сергеевич, Миша Бычваров как ваша счастливая случайность еще не является необходимостью, для этого ведь нужна цепь случайностей?

Да. Еще одним звеном этой цепочки стал Попович.

А где в то время был Попович?

А Попович к этому времени тоже уже был в Киеве и был он аспирантом негде-нибудь, а именно у Копнина, опять же при Институте философии. Кстати, к тому времени, после окончания своих отработок в сельских школах в Институт философии попали многие ребята из моего университетского круга: Сергей Крымский, бывший на курс старше меня, и мой однокурсник Игорь Бычко.

Вилен Сергеевич, а вот интересно: связи университета и Института философии во время вашей учебы были крепкими?

Не было никакого общения с институтом. Круг студентов, в котором я вращался, практически ничего не знал об Институте философии.

А он тогда уже существовал?

Да, хотя в 1949 году Институт философии уже существовал, никакого общения с ним, как помнится, не было.

А кого-то из философов Института вы все же знали?

Да, пожалуй, двух его директоров. Омеляновского как специалиста в области естествознания, а потом Острянина, скорее, не как философа, а как одиозную фигуру.

Уже тогда?

Ну, может быть, к концу 50-х годов. Вот в начале 60-х его и сменил Копнин.

Во время вашей учебы ни конференций совместных, ни чего-то подобного не было?

Сколько я помню, нет.

А вот распределение туда вообще получали выпускники тех лет?

Да, получали, я так думаю, но это, как я уже рассказывал, была партийная номенклатура. То ли они сразу же туда попадали, то ли для них тоже был какой-то переходный период, но сейчас могу назвать только Валерию Ничик, которая была на несколько курсов старше меня. К 1963 году, когда я пришел в институт, она работала там уже долго. Еще из университета тогда в институте был Володя Губенко.

То есть раньше Вас?

Еще раньше меня поступили туда в аспирантуру Попович, Бычко Игорь.

Они там были раньше Вас?

Игорь, правда, с 63-го года уже перешел работать в университет. А когда я пришел, то вот был крут людей, которых я знал со времени своего студенчества. Кроме уже упомянутых, в институте был и Володя Мазепа. А в сентябре 1963 года пришел и я.

Вилен Сергеевич, так как это было – вы к сентябрю действительно написали с Бычваровым книгу, как с Копниным договаривались?

Ну, не совсем так. Там было еще одно звено в цепочке, так сказать, случайностей. Так вот, разговор с Копниным состоялся где-то весной. Все лето я, действительно, интенсивно работал над этой книгой. Но, конечно, период работы над ней мыслился более продолжительным. А в сентябре приходит Попович и говорит: срочно иди к Копнину. Дело, оказывается, было вот в чем. После прихода Копнина в институт многих сторонников Острянина Копнин уволил за склочность и научную несостоятельность. Некоторые ушли сами; таким образом, в Институте сразу оказалось много вакантных мест. Причем существовала угроза, что если эти вакансии не будут заполнены до конца года, то их просто исключат из кадрового расписания института, то есть заберут их у него. И вот в сентябре-октябре 63-го года Копнин объявляет такую массовую мобилизацию-набор для заполнения всех пустующих мест – набирая, к тому же, вполне сознательно свою рабочую команду, в числе

которой оказался и я. Со мною вместе в институт в один отдел, пришли тогда Иваньо и Володя Роменец.

Как назывался ваш отдел?

История философии на Украине.

Ну и вот, таким образом Вы оказались в Институте. Что для Вас это значило тогда? Вы почувствовали перемену в вашей жизни?

Еще бы, у меня началась просто другая жизнь: во-первых, я наконец попал в лоно философии, перешел из сферы средней школы, сферы домов пионеров в научно-исследовательский институт. Во-вторых, я попал в круг людей, для которых пребывание в институте в период директорства Копнина означало тоже большую перемену. Ведь этот период, с 1963 по 68-й год, то есть период директорства Копнина, преобразил и сам институт. К слову сказать, наш институт находился тогда на Кирова, 4 (теперь Грушевского, 4) в огромном семиэтажном здании, принадлежавшем Академии наук, как раз на седьмом этаже, и кроме нас, там было еще пять или шесть гуманитарных академических институтов: истории, археологии, литературы, языка, фольклора и этнографии. Так вот на нас в этот период с завистью смотрели наши коллеги из других институтов, потому что такой свободной творческой и веселой атмосферы, как кажется, не было ни у кого из них.

Это здание было своеобразным кампусом секции общественных наук, то есть, вы как-то общались друг с другом?

Да, общались институтами. Во-первых, ученый совет по защите диссертаций у нас тогда был объединенный.

Как это?

А вот так вот. Это был ученый совет, в который входили ученые из институтов истории, языковедения и т. д. – один ученый совет секции общественных наук. Скажем, в конце 60-х на защите докторских диссертаций на ученом совете председательствовал Белодед, директор Института языковедения.

И не один год существовала вот такая ситуация?

Да, естественно, ведь докторов философии на Украине тогда было раз-два и обчелся. Два-три доктора философии, по-моему, на всю Украину. Где же ты наберешь их на каждый ученый совет?

Кроме того, все же в одном здании естественным было каждодневное общение. Так вот, наш копнинский институт на общем фоне в сознании многих был явлением исключительным и желанным, таким, что ли, своеобразным островом счастья.

А все-таки, чем же этот «остров счастья» стал лично для вас?

Для меня изменился стиль жизни – понимаешь, я пришел не только в философию, но и в семью. Институт при Копнине – это была семья, очень дружная семья. Действительно, в общем, институт-то был невелик, по-моему, так человек 40-50, и благодаря Копнину в нем задавался тон единой семьи, очень толерантной, доброжелательно настроенной ко всем своим членам, с неизменным чувством юмора и иронии в общении. Событием для всего нашего здания было вывешивание юмористической газеты, которую традиционно рисовал Попович.

Со студенческих времен это продолжалось?

Да да. Причем, главным героем большинства карикатур был сам Копнин, и когда вывешивалась газета, на весь коридор раздавался его басовитый хохот: наш директор с наслаждением хохотал, созерцая, так сказать, издевательства, которые чинили над ним его сотрудники в очередном номере газеты.

И это было нечто совершенно новое в тогдашнем академическом общении?

Да, мы такого не видели ни до того в университете, ни, кстати сказать, и в институте после Копнина.

Ну, конечно, представить себе университетскую газету «Зарядянські кадри» с карикатурой на декана и в мое время было просто немыслимо.

Да, и дело не ограничивалось только юмористической газетой. Скажем, заседание ученого совета Копнин превратил в событие. Понимаешь, мы, молодежь, формально могли на совете и не присутствовать, но мы всегда так планировали свое время, чтобы обязательно там быть. На эти советы у нас набивался весь институт, и даже приходили со стороны, потому что это было необычно и интересно.

А что там было необычного?

Прежде всего, отчет самого Копнина о его зарубежных философских командировках.

Как это?

Видишь ли, Копнин оказался практически единственным в те годы философом из Укрины, которого включали в научные советские делегации за рубеж. Была такая практика, что на все официальные международные философские собрания получали приглашение не конкретные ученые, а, так сказать, Советский Союз, и на этом принципе формировалась делегация. Обычно она состояла из четырех москвичей и одного кого-нибудь из какой-то там периферии. Вот этим одним чаще всего оказывался Копнин. Причем, Копнин-то стоял в интеллектуальном своем развитии на голову выше многих московских официозов, и поэтому его отправляли и на такие зарубежные конгрессы, на которые просто не решались отправиться вот эти самые митины, юдины, иовчуки. Так он одним из первых советских философов совершил турне по американским университетам, выступая с лекциями по философии.

Он мог читать лекции на английском языке?

Ты знаешь, я вот как-то не помню, не знаю, может быть, там перевод был.

А вообще он знал языки?

Я думаю, что знал.

Что у нас было событием само по себе.

Так вот, на наших ученых советах Копнин, как правило, делал отчет о таких своих поездках. Причем, делал он это с удовольствием, подробно, долго и неимоверно увлекательно. Как правило, начинал он с довольно толкового изложения существа тех философских проблем, которые обсуждались на симпозиумах. Затем шло подробное изложение собственного доклада, а потом он рассказывал нам о бытовых деталях и впечатлениях своего пребывания за «железным занавесом». Для нас, для которых этот занавес был тогда еще наглухо закрыт, это было чрезвычайно важно и интересно – по сути дела, это было единственным «окном» в современный западный мир. Кроме того, не было ни одного московского философа, который по тем или иным причинам оказывался в Киеве, и которого бы с научным докладом не вытащил на наш совет Копнин. Таким образом заседания ученого совета, помимо текущих вопросов технического характера, превращались в некий интеллектуальный центр общения – именно ученый совет.

Далее, Копнин вводит реформу структуры института. Отныне институт делится на отделы не по видам философской науки, так скажем, а по проблемам. Т.е., он заставляет каждый отдел заниматься решением какой-то проблемы как таковой.

Кого ставили заведомыми?

Вот он был заведомом логики, Евдокименко у нас был заведомом истории философии на Украине, Дышлевый был заведомом философских проблем естествознания, Коваль такой был, это истмат.

Это все была публика постарше?

Да.

А постарше как? Им было в районе сорока?

Приблизительно в районе сорока. Аветисян был там во главе отдела критики буржуазной философии, так он был постарше.

Институт был очень молодой?

Институт был молод, особенно по сравнению с нынешним, да и сам-то Копнин был тогда молодой, он же в 20-е годы где-то родился, следовательно, в 60-е ему тоже было в районе сорока.

А люди намного старше были в институте?

Почти не было. То есть, были единички. Скажем, вот у нас в отделе был такой Николай Захарович Юшманов – очень интересная фигура, о нем есть смысл рассказать особо.

Конечно, конечно!

Значит, судьба его сложилась весьма трагично, как и судьба всей философии в советский период. Начал он свое движение к философии, будучи каким-то там комсомольским деятелем в МТС, что ли.

Это еще задолго до войны?

Да, в конце 20-х годов. И оттуда он получил направление в Институт красной профессуры в Москве, закончил этот институт.

Где-то к середине 30-х?

Да, это уже тридцатые годы. Он окончил этот институт где-то в 35-36-м году, что ли, вот так вот. К тому времени у него были публикации, если их можно так назвать, одна или две статьи всего лишь. Тем не менее, он получил назначение.

А в какой научной области он работал?

Ну, не знаю я, трудно определить эту область. У него была статья о Каутском и о Бернштейне, критика ревизионистов... В общем, область определялась тем, что он позавчерашний комсомольский работник МТС и вчерашний студент Института красной профессуры. Короче, он получает назначение ученым секретарем в Институт философии в Киеве. Но когда он сюда приехал в 1936 году, в институте, кроме него, оставалась одна уборщица – все остальные были посажены.

Вилен Сергеевич, а можно вспомнить хоть одну-две фамилии из тех, кто был посажен тогда?

Ну, это целая волна, это Семковский, Демчук, Юринец, вот из таких более известных, Шовкопляс такой был. Ну, они – это отдельная история существования нашего института в довоенный период.

Перечисленные Вами лица были философами?

Да, это украинские философы начала 20-х – конца 30-х годов, причем многие из них были интересными людьми. Скажем, Юринец – человек, окончивший Венский университет, затем участвовал в войне империалистической в чехословацком батальоне, был в числе тех чешских пленных, которые находились где-то там в Сибири, и осел в Украине после гражданской войны.

А он что, чех?

Нет, он украинец, но жил на Западе. Это был человек европейски образованный.

А область его философских интересов?

Вообще-то он занимался эстетикой, активно участвовал в общественной жизни, а по сути, он был убежденный коммунист.

Он что-то писал, сохранились какие-то его труды?

Да, писал, много писал. Вообще это то поколение, которым мы, историки украинской философии, сейчас вплотную должны бы заняться. Вот, кстати, сейчас к нам поступает в аспирантуру внучка Юринца. Причем, эта девочка, она из Дрогобыча, намеренно собирала материал и будет писать диссертацию о своем родственнике-философе.

Она идет в институт, в наш отдел истории философии?

Нет, на кафедру в Могилянку. Об институте по этому поводу я тебе отдельно расскажу, был целый период, когда этим занимался наш отдел.

Вилен Сергеевич, вернемся теперь к Юшманову. Вот в 1936 году он приехал...

и какое-то время они с уборщицей вдвоем исправно ходили на работу. К сожалению, этот срок был очень непродолжительный, и его для порядка тоже «прибрали».

То есть «прибрали» серьезно?

Да, он был осужден. Потом, когда его реабилитировали, он рассказывал, что в папке с делом лежал один пустой лист бумаги, но человек провел в местах не столь отдаленных положенные сроки.

Положенные, это сколько?

Я не знаю, но в общем до полной реабилитации, аж до хрущевской «оттепели», сидел там, в Сибири. Был сначала заключенным, потом на поселении жил, там женился и вернулся уже к концу 50-х.

И он так и не знал, за что сидел?

Конечно, не знал, но его, в конце концов, убедили там, что он сидит как враг народа. С конца 50-х он был восстановлен на работе у нас в отделе.

С тех пор он еще долго проработал в институте?

Да, и мы все ему активно помогали. Он смог даже кандидатскую, а потом и докторскую защитить. Причем, гримаса судьбы заключалась в том, что на защите докторской у Юшманова первым оппонентом был Марк Борисович Митин, тот самый, который в свое время приложил руку к гонениям на философов. А теперь, выступая с трибуны, он говорил, что помимо научной ценности труда, который подготовил Юшманов, нужно помнить об этой личности, на долю которой выпало вот такое – тяжкая судьба, несправедливое осуждение и т. д. Понятно, что его выступление всеми воспринималось с ухмылкой, но, тем не менее, это имело место быть.

Вот такой у нас в отделе был «старичок».

А сколько же ему в начале 60-х было лет?

Он довольно бодро выглядел, ну, я не знаю, лет под шестьдесят.

Под шестьдесят, и он был в институте на положении старичка?

Ну, да, среди нас-то. Кстати, именно в этот период наш отдел с легкой руки Копнина и начал вплотную изучать историю украинской философии 20-30-х гг. Мы планировали сделать на этом материале большую книгу, работа затянулась, и получилось так, что книга была закончена где-то к 1969-му году. Её выпуск планировался как раз к столетнему юбилею Ленина, т.е. к 1970-му.

А кем конкретно вы занимались?

Значит, вот я уже назвал несколько фамилий: Юринец, Демчук, Семковский; был такой Шовкопляс, который их всех сдавал, а потом и сам туда же попал. Ну, и еще некоторые фигуры и личности. О Юринце я тебе уже несколько слов сказал, а еще он активно участвовал в литературных дискуссиях 1929-1931 годов, у него есть по феноменологии работы, по эстетике.

Демчук был в продолжительной командировке в Германии, написал и опубликовал большую книгу, посвященную критике, конечно, критике тогдашней немецкой философии, за это и поплотился, хотя сам был убежден, что он марксист, впрочем, они все себя марксистами числили. В философской дискуссии тех. Лет звучала обличительная мысль, что вот, мол, Демчук целую книгу посвятил критике современных немецких буржуазных философов, и даже дошел до того, что цитирует их дословно, так сказать, по первоисточникам.

Естественно, он же знал языки и мог читать первоисточники, какой ужас... А вот интересно, кого же он мог критиковать в качестве современных буржуазных немецких философов? Неокантианцев, что ли?

Да, очевидно неокантианцев. Я, честно говоря, сейчас не упомяну...

А кстати, остались ли от наших философов, о которых речь, какие-нибудь труды?

Остались, остались. В первую очередь, статьи в журналах. Выходил журнал «Під прапором марксизму» или «Прапор марксизму-ленінізму», он там названия разные имел, довоенный журнал на Украине, где публиковались философские статьи. Ну, скажем, Семковский – один из старых бундовцев, деятель партийный до революции, но при этом высокообразованный человек, который помимо написания всяких учебных пособий занимался проблемой философского осмысления теории относительности Эйнштейна, по-теперешнему, философскими проблемами естествознания. Так у него есть даже целая философская монография, посвященная осмыслению теории относительности Эйнштейна.

Это все довоенные годы?

Это все конец 20-х – начало 30-х годов. С 29-го по 31-й год проходят несколько философских дискуссий, каждая из которых посвящалась идеологическому разоблачению определенной группы ученых.

После чего через год опять собирались на дискуссию, о тех, кого критиковали год назад, уже речь не шла, они к тому времени были в местах не столь отдаленных, а подвергались критике те, кто выступал разоблачителями год назад. Первый раз Демчук критиковал Юринца, говорил, что он без хребта, и Юринец вставал и каялся, говорил, что да, действительно, я без хребта, преклонялся, мол, перед авторитетом буржуазных немецких и прочих философов. Через год Шовкопляс выступает с критикой Демчука, который вот дошел до того, что целую книгу посвятил буржуазным философам и даже цитирует их. Все, уже и Демчука не стало. Через год исчезает и Шовкопляс. Вот такая была волна.

Это 30-е годы?

Да, это конец 20-х – начало 30-х годов, но это период еще, так сказать, становления сталинской жесткой системы понимания философии, хотя нужно признать, что это был и период философских

исканий. Понимаешь, эти люди искренне стремились переосмыслить опыт философии с точки зрения идей марксизма, которому они были субъективно преданы, и в процессе этой дискуссии, поисков, иногда возникали и интересные, достойные анализа позиции, которые были вполне в рамках философии как строгой научной теории.

Так вот, в 60-е годы, как раз во время Копнина, мы занимались этой историей и такого рода анализом.

Прошу прощения, я задам еще такой встречный вопрос. Вот, когда вы в 63-м году приступили к исследованию этой ситуации, вы имели в своем распоряжении прямые источники?

Да.

А что это были за источники?

В библиотеках были книги тех авторов, журналы с их статьями.

А вот, скажем, протоколы этих так называемых, философских дискуссий?

Нет, этого не было.

Этого не было, а где бы оно могло быть?

А я не знаю, сохранились ли они где-нибудь. Но в журналах публиковались материалы дискуссий, выступления и доклады. Кроме того, там же иногда публиковались и подробные, почти протокольные отчеты об этих дискуссиях.

И речи самих обвиняемых?

Да, да. Все есть в этих журналах. Более того, Юшманов, который, как ты понимаешь, был современником всех этих событий, уже в 60-е годы у нас написал об этом подробно и опубликовал несколько статей. Его мы, кстати, в своей книге как источник использовали. Кроме Юшманова, были еще современники описываемых событий. К счастью, не все философы на Украине были пересажены, но и из пересаженных были вернувшиеся, которые

оказались для нас в нашей работе неоценимым подспорьем, так сказать, первоисточником. В частности, такой харьковский философ Яков Семенович Блудов. Он в 20-х – 30-х годах еще в столичном Харькове был не последней фигурой на философской ниве.

А где была эта нива, там же института не было?

Как не было! Ты же помнишь, что столицей Украины тогда был Харьков, именно в Харькове был создан институт общественных наук, институт марксистско-ленинский, а в Киеве была Академия наук, на которую из Харькова смотрели очень косо как на средоточие буржуйско-еврейского кагала. А в середине 30-х годов столица Украины перемещается в Киев, харьковский институт сливается с киевским академическим, и так, собственно, рождается наш Институт философии.

То есть Блудов как раз из этого харьковского круга?

Да, в свое время он тоже был посажен, но выжил и после реабилитации вернулся в Харьков, преподавал там в университете и в мое уже время часто приезжал к нам в Киев. Яков Семенович стал для нас своеобразным отголоском страстей, кипевших в период тех самых философских дискуссий. На первую публикацию Юшманова, посвященную Демчуку или, я уже не помню, кому-то из этой вот когорты, он выдал чрезвычайно возмущенную реакцию: как это так, признанных врагов народа начинают опять поднимать на щит. Мы говорим: «Яков Семенович, они же, как и вы, были несправедливо осуждены и уже реабилитированы давно, вы же сами пострадали и все это хорошо прочувствовали». А он нам: со мной, говорит, промашка вышла, лес рубят – щепки летят, а все эти юринцы, демчуки, шовкоплясы и прочие, так сказать, философы, конечно же, враги народа, агенты кулачества и достойны всяческого осуждения».

И это был уже 63-й год?

Да нет, это было уже в 1964, 1965, 1966 годы. Яков Семенович потом до конца жизни так и не изменил своих взглядов.

То есть, он до конца жизни был убежден в том, что они враги народа?

Да, хотя и сам прошел все крути ада по полной программе. К слову, в лагерях ему довелось сидеть с Остапом Вишней, о чем он всегда вспоминал с удовольствием.

Итак, Вилен Сергеевич, Вы со своей молодежной группой изучали историю украинской философии довоенного периода, а еще?

Мы, конечно, занимались и другими проблемами, но я хочу закончить рассказ об этой, потому что она имела интересное и показательное продолжение, вполне даже в духе вышеописанных философских дискуссий.

Скажите только, пожалуйста, кто еще, кроме Вас, состоял в вашей группе?

Ну, ближайшим образом это Роменец и Губенко. Еще этой темой занимались Иваньо, Пронюк, конечно, Валерия Михайловна Ничик. Ну и, понятно, курировал нас завотделом Владимир Ефимович Евдокименко. Как я уже сказал, основная работа над книгой проходила в период с 1965 по 1969 год. А в 1969 году в советской идеологии и, конечно же, в нашем институте начался бум по поводу приближающегося столетия со дня рождения Ленина. Нам в качестве плановой темы была утверждена подготовка коллективной монографии с таким громким названием - «Торжество ленинских философских идей на Украине»; по сути говоря, туда и легло наше исследование. Здесь мы опубликовали собранный нами материал 20-30-х годов с нашим философским анализом.

И что, вышла эта книга?

Конечно, как раз в срок, к юбилею. К слову сказать, вышла уже без Копнина, при Шинкаруке, ведь Копнин, как ты помнишь, ушел от нас в 1968 году.

Вот вышла эта книга, и началось!.. Ведь, понимаешь, закончился копнинский период, закончились теплые 60-е, и наступал жесткий период 70-х. Первым пострадавшим у нас оказался Владимир

Губенко. В книге у него был раздел, посвященный диалектическому материализму на Украине 20-х – 30-х годов. И вот там, в качестве собственного комментария, он написал про то, что Ленин, конечно, великий мыслитель, но превращать в догму его учение и делать из него истину в последней инстанции неправильно и чревато многими неприятностями как для самого учения, так и для дела философии в целом.

И это было опубликовано?

Представь себе, да. Вскоре после выхода книги на каком-то высоком партийном совещании выступает секретарь ЦК компартии по идеологии Овчаренко и мечет в нас громы и молнии, говорит, что вот, мол, в то время, когда мы все констатируем невозможность найти в нашей речи такие слова, которые бы адекватно отразили величие гения Ленина, находятся некоторые псевдоученые, которые предупреждают нас о том, что нет смысла превращать его гениальные идеи в догму... Как ты понимаешь, эта была первая ласточка, возвестившая для нашего института не только переход к другому времени, но и конец копнинского периода. А дальше пошло-поехало.

Вилен Сергеевич, а как назывался лично ваш раздел?

Мой раздел назывался «Разработка историко-философских проблем в Украине», и там все было более-менее обтекаемо.

А Губенко? В институте было по этому поводу какое-то собрание?

Нет, его просто тихо убрали. Причем уволили по прошествии нескольких месяцев после очень успешной защиты им докторской диссертации. Диссертация еще лежала в Москве в ВАКе, а здесь его уже не было.

А у него была докторская какого направления?

По гносеологии, «Знание и преобразование действительности».

Он ведь вначале, как раз когда я пришел в институт, работал в отделе философских проблем естествознания у Дышлевого. Итак, его по-тихому выгоняют с работы, и он с трудом устраивается в

лабораторию по научной организации труда Министерства лесной промышленности, а в это время всесоюзный ВАК утверждает его докторскую.

Все-таки утверждает?

Да, тем не менее, утвердили, хотя анонимное письмо туда пришло. Понимаешь, Киев для всесоюзного ВАКа – периферия. Утвердили докторскую диссертацию, в результате чего Губенко выгнали и с новой его работы, но здесь уже выгнали из чисто «технических» соображений: мол. Согласно Кодексу законов о труде на такой должности доктор наук находится не может. С этой поры ни одной строчки Владимира Губенко в профессиональных изданиях не было опубликовано.

Но его тогда не посадили?

Нет, он не сидел, он был изгнан. Пару лет он слонялся по всяким бюро организации труда, потом его даже взяли на кафедру философии в Высшее артиллерийское училище...

Он оставался членом партии?

Был членом партии.

Его не исключали?

Да, не исключили из партии, то есть это было, так сказать, гонение низшего порядка. Более жесткие начались в середине 70-х годов.

А из авторов пресловутой юбилейной монографии больше никто не пострадал?

Нет. Осталась книга в красивой суперобложке, книга «датская», просто один из её авторов допустил досадную ошибку...

И статью Губенко из нее не изъяли, тираж не рассыпали?

Нет, нет. Это был, так сказать, не столь высокий уровень прегрешений. Ну и потом, понимаешь, это же было только начало брежневского периода, тогда сажали преимущественно националистов.

Вилен Сергеевич, вернемся к вашему отделу. А чем вы занялись потом?

А вот, я же тебе не сказал, как бы параллельно с изучением нашего довоенного философского наследия в середине 60-х, опять-таки по инициативе Копнина, у нас актуализируется интерес к философскому наследию Киево-Могилянской академии. И вот этим исподволь начинает заниматься молодежь в нашем отделе.

Но молодежь уже вполне профессиональная и, так сказать, академически признанная.

Да, к тому времени Роменец был уже защищенным, Ничик и пришла к нам защищенная. Иваньо защитился где-то примерно в то же время.

То есть отдел был молодой, но, тем не менее, остепененный весь?

Пронюк у нас только тогда был без степени.

А та молодежь, что пришла после вас?

А это уже просто были «могилянцы»: Слава Стратий, Мария Кашуба, Владимир Литвинов.

С чего они начинали?

А перед ними лежал обширный и глубокий пласт. Они начинали со Сковороды, но двигались от него не вперед, а примерно на сто лет назад, к периоду зарождения Киево-Могилянской академии, исследуя рукописи, которые от неё остались. Ничик еще в 60-е годы загорелась этой идеей, но она же не знала латыни, а рукописи-то все латинские.

Причем, это же вульгарная латынь, специфическая...

Кроме того, рукописи включали в себя, помимо преподавательских, еще и студенческие конспекты, а также незнакомые нам произвольные сокращения, а еще следовало учесть почерк, в общем работа по освоению всего этого предстояла титаническая.

И кто же это все мог поднять?

Ну, в первую очередь, специалисты, знающие латынь, и желательно молодые люди. А где же их взять? Нашли во Львове. Все дело в том, что там сохранилось очень солидное классическое отделение на филологическом факультете университета. Оставались преподаватели с хорошей школой латыни и греческого еще «од Польши». И тон там задавал Лурье, которого в период борьбы с космополитизмом выслали из Ленинграда во Львов.

Ах, так это тот самый Лурье?

Тот самый, Соломон Яковлевич Лурье, который и возглавил во Львове кафедру. Именно к его выученикам мы и обратились. Хотя они не были философами, но язык знали отлично.

Так значит, Слава Стратий и Литвинов – это выученики Лурье?

Кажется, да. То есть они выученики той кафедры, это точно, но, по-моему, еще и живого Лурье они застали. В этих молодых ребятах было очень ценно еще и то, что там, на кафедре у Лурье, они получили представление не только о латыни, но и о средневековой культуре в целом. Мы их взяли к себе в аспирантуру, здесь они должны были пройти, так сказать, философский ликбез.

Ну и написать диссертации? На фоне выпускников философского факультета им должно было быть очень нелегко?

Да нет, как раз очень легко, потому что в средневековой философии выпускники философского факультета были на том же нулевом уровне, что и они. А потом каждому из них давалась рукопись определенного профессора Могилянской академии, и они должны были прочесть, перевести эту рукопись и написать по ней диссертацию под руководством Валерии Михайловны Ничик.

Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста: вот эти рукописи были абсолютно открыты, то есть никаких препон к доступу не было?

Да, да, никаких препон.

А где они хранились?

Все они были в отделе рукописей Центральной научной библиотеки.

Именно туда перешло все рукописное наследие старой Могилянки?

Да, перешло, вернее, не оно перешло, а к нему перешли: именно в помещении КМА и обосновался отдел рукописей Центральной научной библиотеки имени Вернадского.

И там никаких систем особого допуска не было, все было в открытую, без запретных грифов?

Да, система допусков здесь была самая лояльная. Нужно было принести отношение от Института, что то, мол, явился не с улицы. А запретный гриф там был естественный, в языке, который никто не мог понять. Вот так и появилось у нас уже в 70-е годы то новое молодое поколение, которое под руководством Валерии Ничик начало заниматься Могилянкой. И вот это направление, наряду с изучением философского наследия 20-х- 30-х годов, становится в нашем отделе в 70-х годах основным.

Скажите, пожалуйста, такое: копнинский период формально закончился в институте в 1968-м. А как долго он еще идейно продолжался, как долго чувствовалось это?

Как ты знаешь, Копнина на директорском посту в Институте сменил Шинкарук, но Шинкарук ведь пришел к нам по рекомендации Копнина.

То есть, как бы продолжателем копнинской линии?

Да, продолжателем, и субъективно Шинкарук, действительно, стремился к этому, и, собственно, никаких гонений со стороны Шинкарука в отношении тех инициатив, которые были начаты Копниным, поначалу не было. Но ведь Шинкарук – иной человек, иной философ, понятно, что у него в институте складывалось другое направление, а кроме того, у него была другая тактика отражения внешних атак на Институт.

И это было плохо? Ведь Копнин, как я знаю, слыл великим стратегом?

Видишь ли, все не так однозначно, хотя о стратегических, так сказать, дипломатических способностях Копнина нужно, действительно, сказать особо.

У Копнина судьба складывалась так. Его карьера начиналась в Москве, в Институте философии, он был аспирантом, потом младшим научным сотрудником, а потом он понял, что в Москве традиционным путем ему быстро карьеру не сделать. Коренные москвичи не дадут. Он махнул в

Сибирь, в Томск, сразу на должность заведующего кафедрой философии Томского университета. Из Томска он переезжает в Киев, сначала становится завкафедрой философии Киевского политехнического института, потом деканом философского факультета университета, а затем, в 1962 г., вследствие своеобразной рокировки с Остряниным, становится директором нашего института. Понимаешь, если бы он остался в Москве, то в это время в лучшем случае был бы там старшим научным.

Но, так сказать, красота ситуации состоит в том, что Копнин в Москву все же вернулся.

Еще как. Он в 67-м избирается академиком на Украине, и, помимо, член-корреспондентом в Москве, а уже в 1968 году возвращается в московский Институт философии его директором.

То есть, он начинал в Москве и, совершив вот такой большущий круг по восходящей, вернулся. Можно себе представить, что в Москве ему было нелегко.

Да, но ему было нелегко уже и в Киеве.

А кстати, кто его здесь не принимал?

Ну, прежде всего, партийные силы.

Партийные украинские силы?

Да, они всегда очень искоса на него смотрели.

А были ли у него активные оппоненты в философской среде?

Нет, не могу назвать активных оппонентов в академической философской среде, скорее, в вузовской.

Опять таки, вузовская среда наша или московская?

Ну, ближайшая, наша вузовская.

Университетские коллеги с ним не особо дружили?

Не особо. Исключением, пожалуй, были Бычко и Шинкарук. Кстати, с Игорем Бычко была такая смешная история. За год до ухода Копнина из университета Бычко переходит из нашего института на университетскую кафедру, бежит от Острянина к Копнину. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Острянин вследствие вышеупомянутой рокировки оказывается в университете его непосредственным начальником, а Копнин уходит как раз туда, откуда Бычко сбежал. В свое время мы с Игорем не раз посмеивались по этому поводу. Но надо сказать, что справедливость все-таки восторжествовала, потому что, в конце концов, на посту завкафедрой истории философии в университете Острянина сменил именно Бычко.

Вилен Сергеевич, а вот Вы сказали, что в университете ближе всего к Копнину стоял Шинкарук.

Да, Копнин очень ценил молодого Шинкарука – до такой степени, что именно его рекомендовал в институт своим преемником, но это «наследство», которое, конечно же, было для Шинкарука очень почетным, имело и непростую оборотную сторону. Я уже сказал, что вузовская философия и партийное начальство не жаловали Копнина. Но пока он был здесь, они вынуждены были с ним мириться. А вот как только он уехал, и те, и другие стали отыгрываться на молодом и еще несановитом директоре. То есть, с самого начала Шинкарук должен был продемонстрировать не только свою научную состоятельность, но и умение, так сказать, политика-дипломата. Не успел Копнин переступить порог московского института и покинуть киевский, как тут же обрушились обвине-

ния на наш отдел логики научного познания как людей, которые занимаются пропагандой буржуазного неопозитивизма. К чести Шинкарука, он отразил и эту первую атаку, и много последующих, в общем-то с наименьшими потерями.

И это не имея опыта в политических и дипломатических баталиях?

Ну, не совсем, некоторый опыт у него к тому времени уже был. Когда Копнин уходил из университета к нам в институт, на посту декана его сменил именно Шинкарук. То есть, около четырех лет на этом посту для приобретения такого рода опыта у него все же было, к тому же, он, действительно оказался в этом смысле человеком очень способным, хотя и совершенно непохожим на Копнина.

А что касается философских взглядов, можно ли сказать, что Шинкарук выученик Копнина или нет? Направления-то у них разные.

Я не знаю. Направления разные, но где-то духовно Шинкарук все же тяготел к Копнину.

Итак, Копнин, совершенно в своем стиле, рекомендует своим преемником достаточно молодого человека, что было нехарактерно для тогдашней философской среды.

Да, молодого человека, который к тому времени уже писал о Гегеле и Канте, зная их не по комментариям, а непосредственно по текстам.

И тем был славен, как прецедент.

Несомненно, это был прецедент, но при других обстоятельствах он мог выйти Шинкаруку боком. Вообще-то ему очень повезло, что он, еще будучи молодым человеком, попал под копнинское крыло.

Я еще чуточку поспрашиваю Вас о внутриинститутской атмосфере при Копнине. Ведь можно предположить, что нечто подобное внешней оппозиции, картину которой Вы мне нарисовали, могло существовать и внутри института тоже?

Безусловно. Я же тебе рассказывал, что я пришел в 1963 году в институт как бы по копнинскому призыву, потому что за год до этого Копнин вынужден был провести там своеобразную «чистку». Люди сталинской закваски и острянинского уровня в философии, да еще и постоянно конфликтующие и подсиживающие друг друга, с Копниным были несовместимы. Я не знаю, то ли он их выгонял, то ли они сами не желали с ним находиться в одних стенах, но из института тогда ушло много старых кадров.

Кто ушел, кого можно назвать?

Да Бог их знает, я их не знаю. Меня же тогда в институте еще не было. Это молодые Попович и Крымский их еще застали.

А при Вас остался ли кто-нибудь, кто противодействовал Копнину в институте?

Не было заметно. Если и остались, то Копнин настолько возвышался над этой братией... Значит, я бы так сказал: внутри института были люди, которые не сочувствовали устремлениям Копнина. Но просто их интеллектуальный уровень был настолько невысок, по сравнению с уровнем самого Копнина, и они чувствовали это, что они просто не решались на какие-то открытые и явные выступления против. Таким образом, наше существование в копнинском институте было сравнительно бесконфликтным. Более того, Копнин пресекал попытки внести конфликт в институт извне.

А откуда в первую очередь могли идти такие попытки?

От ЦК партии. Вот, скажем, когда началось уже в 67-м году гонение на националистов, у нас сгустились тучи над Женей Пронюком. Но он действительно участвовал в этом движении.

А это было известно в институте?

Да, это было известно, так вот от Копнина требовали немедленно его выгнать, причем при участии институтской парторганизации.

А кто тогда возглавлял парторганизацию института?

Ну, в общем-то приличный человек, заведомом философских проблем естествознания – Дышлевый. Партийное собрание с персональным делом Пронюка действительно было, но на поводу у партийного начальства Копнин не пошел. Женю он из института не выгнал. Единственное, что он сделал, – тихо перевел его из отдела в библиотеку.

А как люди в институте отнеслись к этому, кулуарно, неформально? Ведь Женя не только не скрывал своих идей, но и приносил в институт всякие политические документы, чтобы их подписывали. Наверное, его сторонились?

Отнюдь. Порядочные люди, особенно молодежь, ему очень сочувствовали. Более того, мы смотрели на этот шаг Копнина, когда он его перевел из отдела в библиотеку, как на действительно героическую попытку в этой ситуации сохранить человека.

То есть его понимали?

Да, да. Правда, не подписывали ничего. Отношения у нас с ним были теплыми, дружественными. Когда Женя, еще работая у нас, обнаружил, что за ним следят, он дал мне фотокопии «Очерков по истории философии на Украине» Чижевского, и говорит: «Если будет обыск, это чревато для меня. На, сохрани». Когда Женя сидел в тюрьме, его жена, раз в год получавшая право на свидание с ним, перед тем, как ехать, встречалась с нами, просила детально и подробно рассказать обо всех событиях философской жизни, которые произошли за этот год, с тем, чтобы затем пересказать это Жене.

А, кстати, как восприняла институтская публика сам арест Пронюка?

И не только Пронюка, а и арест Васи Лисового.

А Лисовой был в связке с Пронюком? В каком отделе он тогда работал?

Вначале Копнин взял Васю Лисового аспирантом в отдел логики, но через некоторое время Вася по собственной инициативе перешел в наш отдел, потому что хотел заниматься не логикой, а историей украинской философии. Кстати, именно тогда наш отдел сливают с отделом критики современной буржуазной философии нашим начальником вместо Евдокименко становится Аветисян.

А куда ушел Евдокименко?

Евдокименко перевели во вновь созданный Копниным отдел философских проблем пролетарского интернационализма и дружбы народов.

Боже мой, кто это придумал?

А это был такой политический ход самого Копнина. Когда мы его спрашивали: «Павел Васильевич, зачем нам такое нужно?», — он говорил: «А это отмазка, для ЦК», — их, мол, «надо обложить».

Я понимаю так, что Пронюк и Лисовой были арестованы как бы по разным статьям?

Я не знаю, по-моему, по одной, хотя за что ведь Лисового посадили? Он же ничего не делал, он только написал официальное протестное письмо в ЦК партии и отправил его. Он очень вежливо пытался убедить руководящих партийных работников в том, что совершается ошибка, когда преследуют и арестовывают интеллигентных людей, вообще интеллектуалов и т. д.

И как к этим арестам отнеслась институтская публика?

В целом, сочувствующе, но пассивно, т.е. никаких активных действий..., но я тебе, пожалуй, расскажу о факте, который мало кто теперь помнит. Только мы с Валерией Михайловной вдвоем после ареста Пронюка и Лисового сдуру пошли к секретарю Печерского райкома партии по идеологии доказывать, что партия ошиблась, арестовав наших коллег.

Сразу после арестов?

Почти сразу же.

И как вам пришла в голову такая мысль?

Так же, как и Лисовому относительно Пронюка.

А кстати, он в своем этом письме не говорил о Пронюке?

Он, я думаю, называл фамилии и не только Пронюка. Но он больше говорил, так сказать, в общем о ситуации в стране, а мы шли по самому частному вопросу: вот двое наших коллег, Пронюк и Лисовой, мы их знаем, они хорошие люди.

Простите, когда арестовали Лисового, было какое-то собрание в институте?

Общеинститутского не было. Собрание было формальное, партийное.

При секретаре Дышлевым?

Да.

Все-таки Дышлевый. И при Копнине, и при раннем Шинкаруке был Дышлевый, он очевидно, оставался, пока не ушел в деканы. Итак, вы с Валерией Михайловной пошли вдвоем. Приглашали с собой еще кого-то?

Никого не звали, это было наше личное, так сказать, решение.

Вы сознательно никого не приглашали, вы понимали, что это опасно?

Нет, мы как-то сами не придавали этому значения, мы не рассматривали свой поступок как какой-то героический.

Но вы были готовы к тому, что вас арестуют тоже?

Мы даже не думали об этом, считали, что это недоразумение, ошибка, которую можно исправить.

И это несмотря на то, что уже был опыт Лисового, заступившегося за кого-то и за это поплатившегося?

А мы тогда еще не знали причины ареста Лисового. Мы только знали, что его арестовали, и все.

Тамиле Васильевне Вы рассказывали, куда Вы собираетесь, или нет?

Нет, я об этом ей не говорил.

Ну и вот, вы пришли...

Женщина, секретарь Печерского райкома партии (забыл, как ее)...нас встретила.

Это была предварительная запись?

Нет. Мы просто из Института философии пришли к секретарю райкома партии в приемную. Нас пустили без препятствий.

То есть вас не спрашивали о причине вашего визита?

Нет. Мы к ней пришли, она нас очень внимательно выслушала, с нами не дискутировала.

А вопросы задавала?

Нет.

Она просто вас слушала?

Да. «Спасибо, – говорит, – примем это к сведению». Попрощались мы, и все, и ничего далее.

Сами вы посчитали ваш поход удачным или неудачным?

Неудачным, конечно, какая же тут удача?

А Вам тогда не пришла в голову мысль, что Вы с Валерией Михайловной будете следующими?

Ну что ты имеешь в виду?

Ну что теперь придут и за вами?

Я не знаю как у Валерии, но мне такая мысль как-то в голову не приходила. Хотя ведь такого ожидания не было и у Васи Лисового, я думаю.

То есть, Вы полагаете, что его арест был для него неожиданностью?

Мне тогда казалось, что неожиданностью. Вот Пронюк, и мы это знали, ареста ожидал, но с его стороны ведь были реальные действия, он знал, что за ним следят, а Вася, вроде бы, ничего такого...

А кстати, Вилен Сергеевич, Вы тогда, после Вашего похода в партийные инстанции за собой никакой слежки не замечали?

Вот именно, что не замечал. Да, скорее всего, её и не было. Героя-диссидента из меня трудно сделать.

И не надо, это не ваше. А вот глобальное ощущение, что сидишь под колпаком, было?

Вот такое ощущение было. И давило, но оно было не личностным, а как-то в целом, во всей стране.

Все-таки невероятно – из вашего отдела было арестовано два человека, не могло быть так, чтобы на общей судьбе отдела это не сказалось.

Ну, конечно, сказалось. Практически мы все получили через некоторое время по партийному взысканию, и отдел какое-то время был под угрозой закрытия. Правда, взыскание скоро сняли.

Следовательно, гроза прошла стороной?

Ну, у кого как. Меня она задела. Где-то в году 73-м или 74-м, точнее уже не помню, в повестке дня нашего ученого совета стоял пункт о принятии к защите докторской диссертации Горского В.С. Буквально накануне молния ударила непосредственно в Валерию Михайловну и в меня. Нас не убило, но на повестке дня ученого совета объявленный ранее пункт уже не стоял.

И как надолго?

Ну, до конца 70-х.

Опала была долгой, но не окончательной?

Там была не только опала. За это время реорганизовывался ВАК, происходили еще какие-то события.

А что в это время делали Вы? Вы остались в отделе?

Да, конечно, зарплату мне исправно платили, а я писал, что Бог на душу положит, в свое удовольствие?

Писали в стол?

Нет, почему, печатался и издавался. Вот книга вышла моя «В поисках истины». Персонажи – Коперник, Бруно, Галилей. В конце 70-х создали новый ВАК и утвердили новый ученый совет, и с ужасом совет обнаружил, что близится конец первого года, а нет ни одной докторской. Меня вызвал Шинкарук и строжайше приказал буквально в пожарном порядке печатать реферат, чтобы в этом же году и защититься. И я защитился.

Теперь, Вилен Сергеевич, давайте еще раз вернемся к Копнину, чтобы с полной картиной можно было перейти к следующему, шинкаруковскому, периоду. Скажите, пожалуйста, а что в копнинский период представлял из себя отдел научного коммунизма? Он же был уже, этот отдел?

Да, отдел был, его заведующим был такой Коваль. Он, кстати, и представлял в институте тот слой, которым Копнин «обкладывал».

Тогда можно ли так считать, что этот отдел был как бы дальше всего от Копнина?

Да это так и было.

А кто, кроме Коваля, был в этом отделе?

А я их не помню.

То есть в интеллектуальной жизни института они были незаметны?

Они у нас присутствовали. Коваль любил выступать на ученых советах с соответствующими идеологическими заявлениями по поводу наших работ. Но дальше действовать они не решались.

А вот интересно, кто считался в институте правой рукой Копнина?

Попович. Копнин же возглавлял отдел логики, но практически, реально, так сказать, каждодневная жизнь отдела направлялась Поповичем.

А еще?

Дышлевый был близок Копнину, из тех, кто немножко постарше.

А вообще была в институте, если можно так выразиться, интеллектуальная иерархия отделов?

Да. Первым в этой иерархии был отдел логики, конечно.

А дальше?

А дальше ровненько.

И на другом полюсе?..

На другом полюсе отдел научного коммунизма и пролетарский интернационализм.

А отдел эстетики существовал? Он был самостоятельным?

Да, Гончаренко Николай Васильевич возглавлял отдел и был замдиректора. Кстати, он страшно обиделся, что Копнин, уходя, передал бразды правления Шинкаруку, а не ему, и ушел демонстративно из института.

Следовательно, он видел себя реемником?

Да, ведь он был формально и официально заместителем директора Института философии.

А заместителей было двое, он и Дышлевый?

Нет, один. Дышлевый был заведомо философских проблем естествознания и партийным, так сказать, лидером.

А кто в институте ведал кадрами?

Типа Дуси? А Берт его знает, даже не скажу.

Кроме Евдокии Филимоновны, трудно представить себе кого-то на этом месте?

Кроме Дуси трудно себе представить. Не помню. Так и институт же был небольшой.

А вот скажите мне, пожалуйста, такое. Когда я поступила в университет в 66-м году, у нас на курсе с первого же полугодия обозначилась такая реалья: существовали в нашей среде люди, которые, ну скажем так, были связаны с некоей организацией госбезопасности. Мы четко знали, что такие люди есть. А вот в институте тогда знали, что такие люди есть?

Я думаю, что такие были и у нас, но точнее – не помню. Абсолютно официально существовал уполномоченный КГБ, который курировал наш институт. И он к нам приходил.

Абсолютно открыто?

Да, какой-то там мужик приходил.

Лично вы с ним общались?

Да, я с ним имел дело, когда состоялась первая моя зарубежная поездка в Болгарию. Вот это считалось обязательным. После поездки он еще раз пришел и со мной вежливо побеседовал. Я должен был подробно рассказать, что я делал за рубежом.

А что его интересовало: детали быта, разговоры, люди, с которыми встречались?

Да, именно это.

А у вас была официальная поездка?

Да, конечно.

Какие это годы?

Это 70-е.

Вот так вы первый раз попали за границу, – очевидно, к Бычварову?

Да не то чтобы очевидно, а именно благодаря Бычварову. Меня приглашал Центр болгаристики при тамошней Академии наук.

Центр болгаристики? А что это такое?

Дело в том, что в Болгарии – очень такая разумная вещь, – у них, кажется, в системе Академии наук, существовало некое подразделение, называлось оно Центром международной болгаристики, во главе его стоял авторитетный гуманитарий-филолог. Центр был небольшой, он состоял из энного количества молодых ученых, в основном людей со знанием иностранных языков. И задача перед ними ставилась такая: они разделили земной шар на языковые зоны и должны были следить за литературой, там выходящей, выбирая то, что касается Болгарии.

Своеобразный мониторинг?

Да. И потом брались на учет те, кто занимается болгаристикой в других странах, кроме того, с ними устанавливался постоянный контакт. Центр регулярно слал им книги в подарок – вон у меня целая полка стоит.

Целая полка подаренных книг из Болгарии?

Да. И на каждом штампик: «Это дар от Центра болгаристики». Затем они приглашали нас на стажировку за свой счет, чем, конечно, все с удовольствием пользовались.

И сколько могла длиться такая стажировка?

Ну, месяц. Так вот я в Болгарию и попал. Потом я бывал в Болгарии неоднократно на конгрессах, выступая там с докладами.

А это было событием для института, ваши поездки за границу?

Для института я не думаю, в то время уже и Попович ездил, и Яценко, не говоря о Копнине. Нет, для института это было довольно рядовое событие – это было событие для меня. Кстати, для того, чтобы поехать, я должен был иметь рекомендацию райкома партии с характеристикой.

И вот тогда-то вас нашел человек из КГБ?

Да.

Значит, впервые вы встретились с ним до вашей поездки, а не после? Он Вас как-то инструктировал?

Ах да, конечно.

И чего он требовал?

Я не помню, вот требовали от меня на бюро райкома, перед тем, как выдать характеристику.

Что требовали?

Ну так, как при приеме в партию. Задавали вопросы, в каком году был какой-то там партийный съезд, что-то еще в этом роде.

То есть, устроили Вам очередной ликбез? Проверяли на партийную грамотность?

Смешно, но, очевидно, так. А ликбез уже, так сказать, научный и более целенаправленный, по специальности, совершался в Москве.

Почему в Москве?

Секрет-то был простой: ведь командировку я получал не в Киеве, а только в Москве. Поэтому в Болгарию я ехал через Москву, шел в президиум Академии наук СССР, там меня инструктировали, как я должен вести себя за рубежом. Там же мне давали возможность обменять рубли на левы, там же давали паспорт со штампом.

В Академии наук?

Там был специальный отдел международных отношений. Вот только после всего этого в Москве я сел на поезд и ехал в Болгарию. Поезд ехал через Киев, Тамила выходила на перрон, мне котлетки приносила. Потом я махал ей ручкой и ехал дальше.

Скажите, пожалуйста, Вы ехали один или в составе делегации?

Я уже не помню. Я ездил несколько раз на конференции в составе делегации.

А самая первая поездка?

Во время первой я был один.

Интересно, какие инструкции Вам давали. Вам что-нибудь запомнилось?

А ты знаешь, наверное, нет. Ничего особенного не было, ведь Болгария – социалистическая страна, и все для нас было нежестко.

Ну, вот, Вам говорили, например, что Вы там не можете с кем-то встречаться?

Нет.

То есть круг ваших встреч никак не ограничивали?

Нет, его вообще не определяли. Говорили, конечно, что я должен быть достаточно внимателен, аккуратен и осторожен в общении, но никаких фамилий не называли.

А Вы знали, что Вас там будут «курировать»?

Да, знаешь, как-то об этом не думалось.

Вилен Сергеевич, сколько я знаю, в анкете, заполняемой перед заграничной поездкой, был тогда пункт о родителях и их пребывании за границей. Вы там писали о пребывании вашего папы в Америке?

В анкете я указывал, что отец был репрессирован и реабилитирован.

А его Америка?

Это никак не всплывало. Похоже, что они не знали, да и не интересовались этим.

Значит, Вы стали ездить за границу приблизительно после десяти лет пребывания в институте. А вот ваша пятая графа когда-нибудь напоминала о себе формальным или неформальным образом?

В моих заграничных поездках, вроде бы, нет. Но когда Копнин брал меня в институт, то, как мне пересказывали, был с ним такой эпизод. Дело в том, что любая кандидатура на должность сотрудника Института философии утверждалась в ЦК партии. И вот Копнину там говорили: зачем вы берете Горского? Ведь он уже не мальчик, ему за тридцать, а он не кандидат наук. На что Копнин ответил, что я достаточно зарекомендовал себя как молодой ученый. А тогда ему, якобы, прозрачно намекнули на графу, на что Копнин ответил: «Я русский интеллигент, и вот этих вещей и ваших намеков не понимаю». На том все и закончилось.

И в институте этот «еврейский» вопрос тоже никогда не поднимался?

Никогда.

Вилен Сергеевич, теперь вернемся к концу копнинского периода, – или это уже было в период Шинкарука? Эти ваши заграничные поездки были до арестов Пронюка и Лисового или после?

Нет, это было гораздо позже. Основные мои поездки были уже после защиты докторской.

Ну что ж, вопрос о докторской у нас впереди, я хочу поспрашивать Вас еще о начале 70-х. После Пронюка и Лисового аресты в институте прекратились?

В институте, да. Но тучи над нами висели еще примерно лет десять.

А в близком к Вам окружении никого тогда не арестовали?

Ну, как же, вот Иван Светличный, я хорошо его знал, не так близко, как Пронюка и Лисового, но все же. Был еще и молодой аспирант Костюк.

Ну, они же были вне философии?

Да, они были вне философии – это филологи.

Это круг вашего межинститутского общения на Кирова, 4?

Да.

Там, у филологов, аресты ведь были как бы более интенсивные, чем в институте философии?

Конечно. Но эти аресты были уже не при нас, мы тогда были в другом здании, в теперешнем нашем, на Владимирской горке.

И уже при Шинкаруке. Ну что ж, мы естественным образом и с полным правом переходим теперь, так сказать, к шинкаруковскому времени. И поэтому спрашиваю еще раз. Как пришел к вам Шинкарук? Насколько он был вам знаком? Как вы, молодые последователи Копнина, это восприняли?

Ну, Шинкарука мы знали хорошо, потому что весь институт (весь, не весь, но значительная часть его) был укомплектован воспитанниками философского факультета Киевского университета. А среди персонажей, которые достойно репрезентовали философский факультет, Шинкарук был давно известен. То есть, Шинкарук не был новостью ни для Поповича, ни для меня, ни для подавляющего большинства институтских философов. Так что приход к нам Шинкарука, по всей вероятности, даже не был воспринят тогда как неожиданность. На его назначение основная масса смотрела как на вполне закономерный шаг с точки зрения стремления поддерживать и продолжать в какой-то степени традиции, заложенные Копниным. Надо сказать, что Шинкарук к этому, очевидно, и стремился, просто получалось это у него достаточно своеобразно, учитывая его индивидуальные психологические и интеллектуальные особенности.

Вилен Сергеевич, если я не ошибаюсь, то Шинкарук, придя в институт директором, создал еще и новый отдел, который впоследствии не уступал копнинскому отделу логики?

Да, безусловно. Но он структурно его не то чтобы создал, а восстановил то, что Копнин в качестве самостоятельного отдела когда-то устранил как острянинский форпост диамата.

А как этот отдел стал называться при Шинкаруке?

Ты знаешь, я даже не помню, но, кажется, так и назывался – отдел диамата. И туда вошли очень яркие люди, о которых мы как-то, говоря в этой плоскости, до сих пор не сказали. Я имею в виду, прежде всего, Сашу Яценко и Вадима Иванова.

Они ведь были еще при Копнине?

Да, если я не ошибаюсь.

Они пришли аспирантами или уже кандидатами в институт?

Нет, они пришли уже зрелыми учеными. Яценко, скажем, побывал и завкафедрой в Житомире. А Вадим Иванов до нас работал в Художественном институте на кафедре философии. Их взял в Институт уже Шинкарук. И, кстати, вместе с Шинкаруком в институт пришел Миша Булатов.

Перешел из университета так же, как и Шинкарук?

Да, да. И вот они-то и составили тот круг людей, который стал впоследствии весомым научным подразделением института.

А логики, так сказать, вершина интеллектуальной иерархии, они сохранились?

Еще бы, они продолжали работать как отдел логики научного познания: это Попович, Косолапов, Артюх и Ледников, Йолон и Крымский, Сережа Васильев. Костя Жоль и Наташа Вяткина позже пришли, это уже следующее поколение.

Но при этом возникает как бы новый интеллектуальный центр?

Да, но позже. И там, несомненно, одной из весомых фигур стал Вадим Иванов. Его круг интересов, определивших затем целое научное направление в институте, составляла культурология.

Я понимаю так, что, собственно, культура как философская категория стала объектом внимания в институте именно в связи с деятельностью Вадима Иванова?

Да, да. И Яценко, ведь он аксиологией занимался, целеполагающая деятельностью и т. д.

А насколько Шинкарук был близок к этому направлению?

Видишь ли, ближе Шинкарук был все же к истории философии. После окончания университета, в аспирантуре, он был на кафедре истории философии, я думаю, у Шлепакова Николая Сергеевича.

То есть, историко-философские направления в институте были в ведении самого Шинкарука?

Да, дело в том, что, как я уже, кажется, говорил, нам по союзному рангу не полагалось иметь отдел общей философии, только региональный, украинский. А Шинкарук же был специалистом в немецкой классической философии.

А вот, занимаясь немецкой классической философией, знал ли Шинкарук немецкий язык?

А я не знаю. Во всяком случае, он его нам не демонстрировал. Было понятно только, что первоисточники он знает, то ли в хорошем русском переводе, то ли в оригинале, я не могу сказать, да и, понимаешь, это было как-то неважно.

Как это?

А вот к языковой ситуации. Не только в 60-х и 70-х, но даже до половины 80-х годов изучение иностранных языков было не актуально. На английский, немецкий смотрели как на латынь – языки мертвые, языки, которые в повседневном научном общении ни в

коей мере не понадобятся. Не только потому, что, как в случае с латынью, ими никто не пользуется сегодня, а просто потому, что все англо-немецкие и франкоязычные источники для граждан Советского Союза были недоступны. Европейская философская литература второй половины XX века была для нас закрыта. Где-то с половины 80-х не только разговорная иностранная речь, но и владение языками для прочтения источников стали у нас актуальными и желательными. Вот, скажем, Попович в этом смысле всегда выделялся хорошим знанием иностранных языков: английский, французский, польский. Но таких людей в институте было очень мало, к сожалению.

А с Шинкаруком разве не пришли люди, скажем, знающие латынь или греческий?

Нет, кроме Славы Стратий, Кашубы, Роговича. Но они пришли из Львова заниматься могилянским наследием, как я уже рассказывал, и с Шинкаруком непосредственно это никак не было связано.

А, кстати, вопрос, который я хотела задать много раньше: на каком языке говорил институт, начиная с 60-х, официально и в кулуарах?

Когда я пришел в Институт, в основном на русском, говорил и писал, в начале 70-х краткий период – на украинском, впоследствии – до 90-х – как бы равномерно на украинском и на русском.

Вот партсобрания, заседания ученого совета?

В основном, на русском.

А обычный разговорный язык Шинкарука, пришедшего к вам в институт?

Представь себе, тоже русский.

Вы рассказывали очень живописно о том, как выглядел молодой Копнин. А как выглядел молодой Шинкарук?

Ну как, очень приятный.

Вот чем он был характерен?

Большой, коренастый.

Он был похож на скептика, на романтика, на прагматика, на кого, к какому типу он был ближе?

Ты знаешь, я даже затрудняюсь сказать. То есть ближе туда к романтикам куда-то, национал-романтикам таким.

А, скажем, прагматическая жилка у него была?

По-моему, да, была, но он не обладал достаточной силой сопротивления к верхам, академическому и партийному начальству, которой обладал Копнин. На него давили.

А может быть, это была такая своеобразная форма приспособляемости, такой вот тип мудрости житейской?

Может быть. Во всяком случае, где-то на уровне межчеловеческого общения он часто демонстрировал безусловную толерантность по отношению к тем, кто в силу тех или иных обстоятельств попадал в разряд гонимых и был гоним, в том числе и им самим, Шинкаруком.

Даже так? То есть у него различались официальный уровень общения и, так сказать, человеческий?

Да, пожалуй, это было для него характерно.

А как Вам кажется, вот Копнин был, безусловно, светским человеком, это было видно по всему, а Шинкарук?

Нет, с равными себе он был свойский сельский парень.

Насколько я понимаю, светским человеком он так и не стал?

Да, да, таким и остался.

А как же ему тогда при этом всем удавалось ладить с официальной верхушкой, с партийным руководством?

А вот именно благодаря этому и удавалось, ведь официальная верхушка в стиле бытовом была куда ближе по природе своей к

Шинкаруку, нежели к Копнину. Копнин, скорее, выделялся на фоне той верхушки, явно воспринимался ею как элемент чуждый, барственный и посторонний.

А Шинкарук и там воспринимался как свой?

Да, как минимум ближе.

Можно ли сказать, что Копнин был человеком традиционной городской культуры? А Шинкарук какой, сельской?

Я бы сказал, советской.

И в подборе его институтской команды такая ориентация прослеживалась?

По-моему, да. Во всяком случае, из молодежи охотнее всего он брал в институт сельских ребят и, преимущественно, своих земляков.

А как он относился к совершенно в этом смысле иной, копнинской команде, отделу логики и иже с ними?

К команде Копнина он относился очень уважительно.

А как тогда складывались отношения между копнинским отделом логики и вновь сформированным шинкаруковским отделом?

Вполне дружественно и на равных. Ведь команда у Шинкарука была совсем неплохая: Булатов, Иванов, Яценко, это очень яркие личности в интеллектуальном отношении, к тому же, люди очень темпераментные, эмоциональные, активные. Они вместе с логиками и еще некоторые из других отделов органически создавали в 70-е – 80-е годы хороший творческий климат в институте.

Вилен Сергеевич, а следующее институтское поколение, поддерживавшее этот климат, это кто, откуда они в институт приходили?

Ну что ж, интересный вопрос. Ты, очевидно, имеешь в виду Ильченко, Тарасенко, Табачковского?

В первую очередь их, но не только.

А здесь источником служила, как и в случае с Шинкаруком, наша альма матер – философский факультет университета Шевченко. Ведь с университетом, несмотря ни на что, у нас всегда был тесный контакт, он воспринимался естественно, так сказать, как лоно, рождавшее нам нашу смену. Поэтому мы постоянно почитывали там лекции с тем, чтобы немножечко познакомиться со студентами, и в нашу аспирантуру выпускников философского факультета шло подавляющее большинство. Это естественно.

Да, и в мое время самым престижным распределением было, честно говоря, попасть в Институт философии.

Нужно еще учесть, что собственно философский факультет киевского университета был тогда в Украине единственным, поэтому дорога в институт для его выпускников была самой прямой дорогой в профессию.

Прямой и очень престижной, хотя, к сожалению, непростой и зачастую тернистой для многих достойных этого.

Но несмотря на то, что многих способных студентов из-за разных формальных и неформальных препятствий мы потеряли, все же в основном отбирали очень неплохих людей.

Еще бы, чего стоит когорта Ильченко-Тарасенко-Табачковский! А вот смотрите, Вилен Сергеевич, как получается. Вы говорили, что в ваши университетские годы связи философского факультета с Институтом почти не было. Через пятнадцать-двадцать лет, в мои университетские, она была очень крепкой и естественной. Как, по-вашему, когда совершился этот сдвиг?

А это началось еще с Копнина, ведь он пришел к нам из университета, и у него сохранились там связи. Он всегда был повернут в сторону университетской молодежи.

Следовательно, он пытался каким-то образом сближать эти две структуры?

Да, да.

А затем, когда Шинкарук, оставив деканство, ушел в институт, эти связи не ослабели?

Естественно, нет, именно при Шинкаруке, как ты правильно заметила, самым престижным распределением на факультете считалось распределение к нам в Институт, и по-прежнему Институт, уже традиционно, естественным образом принимал участие в учебной и научной студенческой работе факультета, и лучшие выпускники рекомендовались к нам, поступали в аспирантуру либо сразу становились у нас младшими научными сотрудниками.

А как Вам тогда казалось, чья роль доминировала при распределении, принимающего института или рекомендующего университета?

В конечном счете, надо сказать, что институт в этом деле имел всегда очень независимую позицию. Мы даже экзаменовали тех, кто к нам попадал, и поэтому брали того, кто устраивает нас, кто отвечает нашим требованиям. И я не поручусь за то, что рекомендация и даже университетское распределение имели для Шинкарука решающее значение.

А скажите, были ли чисто внешние факторы, которые, помимо всех вышеуказанных требований и отборов, безвариантно определяли, будет ли человек принят в институт, или дорога туда ему заказана?

Наверное, были. Скажем, со стороны ЦК или КГБ, или еще откуда-нибудь, подробнее об этом я не знаю. Но следует учесть и то, что в стиле нашей институтской жизни в целом очень большое значение имели межличностные контакты, межличностные отношения. Это, безусловно, тоже играло свою роль при решении вопроса о пополнении Института философии новыми кадрами. Как правило, стремились привлечь к себе тех, кто уже на уровне какого-то межличностного контакта или отношений себя зарекомендовал, в какой-то степени проявил, вызвал к себе определенный интерес, порождающий желание дальнейшей совместной работы с этим человеком. Кстати, пробуждению такого интереса способствова-

ли вошедшие в наш обиход еще при Копнине совместные научные межструктурные конференции.

При Шинкаруке эта традиция сохранялась или она пошла на спад?

К сожалению, как я помню, она медленно, но неуклонно шла на спад.

Как Вам кажется, когда стало особенно заметно, что такие связи стали ослабевать?

Я думаю, что наиболее заметно это стало как раз ближе к 90-м.

Следовательно, в 70-е, 80-е между университетом и институтом была тесная смычка?

Да.

То есть, в шинкаруковский период?

Да, конечно.

А интересно, эти связи ослабели со стороны университета или за счет того, что институту перестали быть интересны университетские ученые?

Да, ты знаешь, я бы затруднился сказать однозначно. В какой-то мере, конечно, и со стороны университета. Вот Коля Тарасенко, который, уйдя от нас, стал деканом философского факультета, в период своего деканства старался эти связи всячески поддерживать, а после него они потихоньку сходили на нет, но, к слову сказать, это на уровне факультет – институт; по сути дела эти связи как бы переместились с факультета в другое университетское подразделение – Институт повышения квалификации преподавателей общественных наук.

А он существовал при университете?

Да, причем завкафедрами там были и Бычко, и Яценко, то есть контакт с Институтом философии складывался естественным образом. Нас приглашали туда, и мы охотно читали там спецкурсы,

что было полезно для повышения философской квалификации преподавательского корпуса, а они, в свою очередь, были нам интересны тем, что мы там получали возможность общаться с преподавателями общественных наук всей Украины. Таким образом, и для них, и для нас расширялись возможности творческих контактов.

А кто-нибудь пришел в институт из этой структуры? Можно ли кого-то назвать?

Из Института повышения квалификации? Не могу сейчас точно сказать. Смычка была творческая, а переход в институт был связан со многими непреодолимыми для нас формальностями: наличие киевской прописки, квартиры и т.д. А совместное участие в конференциях, совместное авторство в различных сборниках, которые выходили тогда, вот это было возможно и легко.

Вилен Сергеевич, скажите, пожалуйста, а как в это время, в 70-е, 80-е годы на кадровую политику института влиял горком партии? Назначения в институт и наоборот, это была их прерогатива?

Насколько я знаю, – сам-то я не участвовал в этих технологических процессах, они проходили за закрытыми дверями, – все это курировалось не столько горкомом, сколько ЦК партии, отделом науки ЦК партии.

Который вообще курировал всю академическую структуру?
Да.

Как Вам казалось тогда, голос Шинкарука как директора института в этих раскладах что-то значил?

Да, да, его уважали там.

То есть к нему прислушивались?

Да, к нему прислушивались. Не случайно, он один из немногих директоров гуманитарных институтов, которые были избраны депутатами Верховного Совета Украины.

Это какие годы?

А это уже 90-е годы, он был избран депутатом первого созыва ВС независимой Украины. Кстати, тот самый первый знаменитый закон о языке, – это ведь Шинкарук его разрабатывал.

А вот в 70-е – 80-е годы, если я правильно понимаю, у него была очень сложная задача: с одной стороны, удержать институт и кадры, а с другой стороны...

...а с другой стороны как-то смягчить то давление, которое окружающая среда оказывала на институт. И, по-моему, он в какой-то степени решал эту задачу, хотя сила сопротивления была у него менее могущественная, нежели та, которой обладал Копнин в свое время.

А как в партийных структурах Шинкарука воспринимали?
Как своего. Копнин был чужой.

А для института он в принципе был своим человеком или человеком «оттуда», сверху?

Нет, он не был сверху, но он был таким «своим», который наиболее эффективно осуществлял различные маневры с вышестоящими организациями.

То есть к нему институтские апеллировали и таким образом?
Да.

А кто у него в институте был правой рукой?

В научном отношении – Яценко и Иванов, его отдел.

А, скажем, в административных процессах? Все-таки функции директора очень разнообразны.

А вот тут – Йолон из отдела логики. Именно он впоследствии и взял на себя всю оперативную работу по руководству жизнью института, по всем, так сказать, линиям. Не случайно у Шинкарука было два зама – Иванов и Йолон.

Йолон – это еще копнинский набор?

Да, и очень удачный.

А вот Иванов и Йолон, они же такие разные, они нормально ладили между собой?

Очень хорошо ладили.

Здесь я еще раз спрошу: было ли внутреннее сопротивление Шинкаруку в институте? Были ли силы, которые противостояли ему изнутри?

Не знаю я точно, может быть, кто-то внутренне выражал какое-то недовольство, но это не проявлялось открыто.

То есть открытых конфликтов внутри института при Шинкаруке не было?

Сколько я помню, явных – не было.

Стало быть, он нашел общий язык и с отделом научного коммунизма, и с отделом пролетарского интернационализма?

Да, так же, как с отделом логики научного познания.

А в этих отделах были какие-то перестановки, связанные с приходом нового директора?

Нет. Шинкарук восстановил отдел истории философии на Украине, я уже точно не помню, в каком году это было.

То есть вас просто опять разъединили с Аветисяном?

Да, мы опять стали самостоятельным отделом.

С теми же сотрудниками?

Да. Мы никого не потеряли.

А когда Валерия Михайловна стала заведовать отделом?

После смерти Евдокименко.

Где-то с середины 80-х?

Да.

А что представляла собой научная жизнь в институте 80-х годов?

Ну, прежде всего, в эти годы у нас было много конференций, в том числе по истории философии.

И знаменитые медиевистические семинары?

Да, они в 80-е регулярно проводились раз в два года на базе разных городов Украины.

Вдохновителем и организатором этих семинаров были Вы?

Ну, можно так сказать, а еще в это же время начались регулярные семинары по истории культуры под руководством Вадима Иванова. При этом и мы в своих семинарах, и Вадим Иванов широко привлекали к участию ученых из Москвы, Ленинграда, Белоруссии, Литвы и т.д.; логики продолжали с москвичами совместные чтения, с группой Зиновьева Саши, т.е. у нас регулярно проводились конференции всесоюзного масштаба.

Вилен Сергеевич, теперь о другом. Что представляло собой женское население института? Женищин много было в институте в 80-е годы?

Да, прилично.

Понимаете, почему я спрашиваю? Среди всех, о ком мы сегодня говорили, звучало только одно женское имя – Валерии Михайловны Ничик. А кроме нее?

Из таких заметных были Депенчук Надежда Петровна, которая возглавила отдел философских проблем естествознания после того, как прежний его зам, Дышлевый, ушел деканствовать на философский факультет.

Затем – Лидия Васильевна Сохань, заведомом психологии, или нет, кажется, он назывался отделом философских проблем социальной психологии. В этом отделе, кстати, начинал работать Женя Головаха.

Так все-таки женщин-докторов в институте было мало?

Ну, в первую очередь, эти трое, которых я назвал. И, по-моему, все, если я не ошибаюсь. Но, впрочем, и мужчин-докторов было не так-то много.

Возвращаюсь к женщинам. Я еще в 80-е годы слышала такое мнение, что будто бы Институт философии, да и другие гуманитарные институты Академии наук были якобы престижным местом для ученых жен ответственных партийных работников. Помните, таких дам еще называли лоры, доры и жоры? У нас в институте были такие?

Ох, ты знаешь, не скажу. Может быть, это моя личная вина, но я не шибко интересовался этим делом.

А может, это для нашего института не было актуально?

Для меня, во всяком случае, нет. О женах я не помню точно, но разве что Виктория Храмова, Виктория Федорук, Лера Врублевская...

Но Лера-то и сама по себе была в общем интересным человеком.

Да, она была яркой личностью, до эпатажности, такой же была и её деятельность – писательская и драматургическая. Так что она запомнилась не только благодаря своему мужу.

А Виктория Федорук?

А понимаешь, вот и разница. Она поначалу вела себя в институте очень прилично, скромно, если не знать, то даже не скажешь, кто её муж. Работала себе и работала. О муже Леры Врублевской знали все, она всем о нем рассказывала, своих друзей возила на правительственную дачу в Кончу-Заспу, потом по театрам водила. Хотя я бы не сказал, что это в какой-то степени добавляло Лере престижа в институте. У нас на нее смотрели как на бездельницу, и при первом же удобном случае от нее сдыхались.

А в 80-е годы не было всплеска институтских доносов на верх? Что-нибудь об этом Вы помните? Даже я, не будучи еще в

институте, но находясь, так сказать, близко, в преподавательской философской среде, об этом была наслышана.

Ты знаешь, не помню. То ли я где-то был в стороне, так сказать. Оно могло пройти мимо.

А вот, скажем, если говорить о наиболее заметных научных событиях 80-х, 90-х годов для института, что можно было бы вспомнить, о чем сказать?

Прежде всего, это наши издания, литература, выходящая под грифом Института философии. Это издания, посвященные философскому наследию Киево-Могилянской академии – работа нашего отдела, книги Мирослава Поповича, наше трехтомное издание Истории философии на Украине и предпринятое Виталием Табачковским издание историко-философской серии, посвященной Канту, Гегелю, Фейербаху.

Это такой своеобразный культуртрежерский проект для свободного чтения?

Не совсем. Там на довольно серьезном уровне публиковались аналитические статьи, причем посвященные не столько самому Фейербаху, Канту или Гегелю, сколько, так сказать, осмыслению судеб их философии в европейской традиции.

То есть в этих работах уже появляется современный философский контекст?

Да, да, именно, чего раньше не было. На то время это оказалась значительная философская серия. А, кроме того, на довольно заметный план научной институтской жизни выходит Вадим Иванов со своей группой, занимающейся теорией культуры.

То есть то, из чего потом родился отдел культуры?

Да.

А существование собственного философского журнала считалось научным достижением?

Да, это стало событием с момента возникновения «Думки».

Тогда это был единственный философский журнал на Украине?

Да, единственный. После очень длительного времени отсутствия вообще философской периодики, понятно, что к журналу относились очень серьезно. Вначале Шинкарук сам возглавлял его, потом передал Куценко бразды правления.

А журнал был научным или идеологическим, как Вам казалось?

Старались все-таки выдержать научное направление, хотя идеология там заметно присутствовала.

А когда идеологическое давление прекратилось, как Вам кажется? Когда оно стало ну не то чтобы вовсе неосязаемым, но таким, которым можно было пренебречь?

Наверное, только с 91-го года.

Вилен Сергеевич, а как можно охарактеризовать внешние связи института с коллегами из других научных центров Союза, а может быть, и зарубежья?

Да, такие связи были, и даже во времена Союза, и началось это с Копнина, он все свои профессиональные контакты старался осуществлять через институт. Прежде всего, Москва, московский Институт философии, тут всегда был очень тесный контакт. Ну, еще это Плечкайтис в Вильнюсе, Уёмов, вначале в России, потом в Одессе. У наших диаматчиков еще с конца 70-х годов был контакт с коллегами в Берлине, с берлинским Институтом философии, такой довольно устойчивый и тесный контакт. Ну, наши логики контактировали с пражанами – там в переводе, кажется, в 80-е годы, вышла книга по логике научного познания.

А с алма-атинской школой Абдильдина как-то контактировали?

Да, конечно, и еще – с грузинами очень тесно контактировали, с Тбилисским университетом и Институтом философии, особенно в области эстетики.

В 90-х годах все эти некогда тесные и постоянные контакты, разумеется, слабеют?

Да, к сожалению.

А вот когда у нас начались контакты с теми, кто представляет современную мировую философию?

Это уже вторая половина 90-х.

Раньше ничего подобного не было?

Ну вот Копнин же еще в 60-е ездил в Америку с лекциями, но к нам, кроме югославов, в то время никто и никогда. И вообще упоминание о современной мировой философии (кстати, как ты помнишь, она называлась буржуазной) возможно было только в форме критики, – то есть, о полноценных двухсторонних контактах говорить не приходилось.

И такая ситуация была во всех отраслях философского знания и, соответственно, во всех наших отделах?

Конечно.

А кстати, чем же занимался отдел пролетарского интернационализма и до какого времени он существовал?

По-моему, его ликвидировали только в 90-е годы.

Вместе с отделом научного коммунизма?

Почему, этот, по-моему, и до сих пор существует, разве что под другим названием. Вот там, где Игнатов был.

Но тогда он существует почти незаметно. Вот удивительно, я, работая в институте с начала 90-х годов, практически этих людей не знаю.

Ну, они какой-то ведут локальный образ жизни, и как-то смягченно называются.

Теперь о религиоведах. Какова их история у нас в институте? Вот сейчас понятно, это отделение религиоведения, а раньше? Был отдел научного атеизма или его не было?

Да, у нас был отдел научного атеизма, там был Онищенко Алеша. А до Онищенко я даже и не помню, кто там был, хотя Онищенко сравнительно молодой человек. Но кто там был? А, до него был некто Ерышев, он заведовал этим отделом, когда его сотрудниками были еще совсем молодые Онищенко и Коротков. Заметной роли отдел не играл, был где-то там, на периферии.

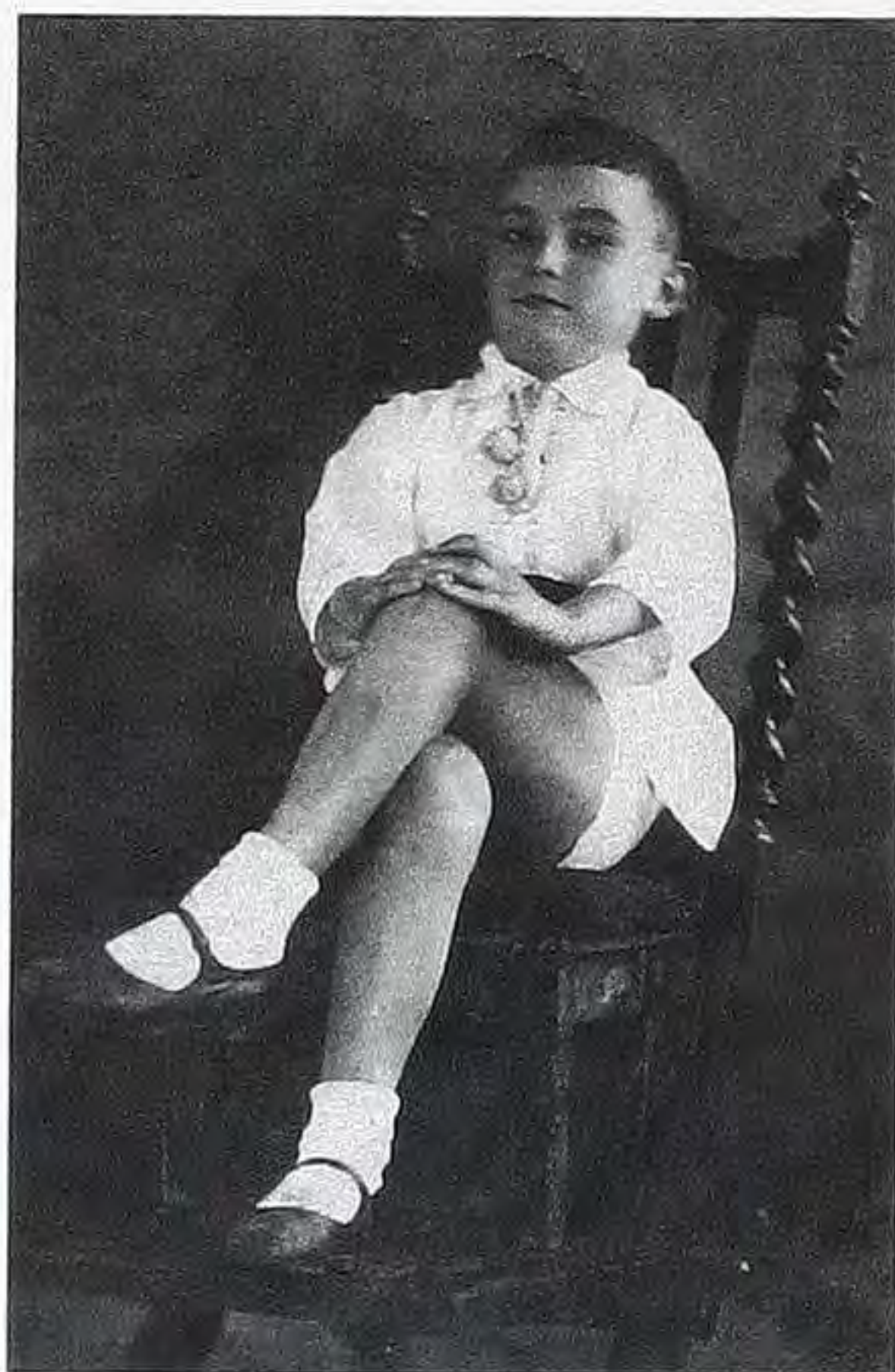
Из теперешнего отделения религиоведения там никого не было? Ну, может быть, Колодный.

Итак, очевидно, историю института шинкаруковского периода можно довольно четко поделить на два этапа: до 90-х и после них?

Да, конечно, но об этом втором этапе я могу рассказать тебе меньше, потому что мой профессиональный жизненный вектор в силу счастливо складывающихся обстоятельств сместился. На горизонте передо мной встала, так сказать, во плоти давнишняя мечта, чудесным образом возрожденная все-таки – Киево-Могилянская академия.



Анна Моисеевна Кричевская
и Сергей Маркович Горский,
родители В. С. Горского.
Харьков, конец 1920-х годов



Маленький Виля Горский.
Харьков, 1939 год



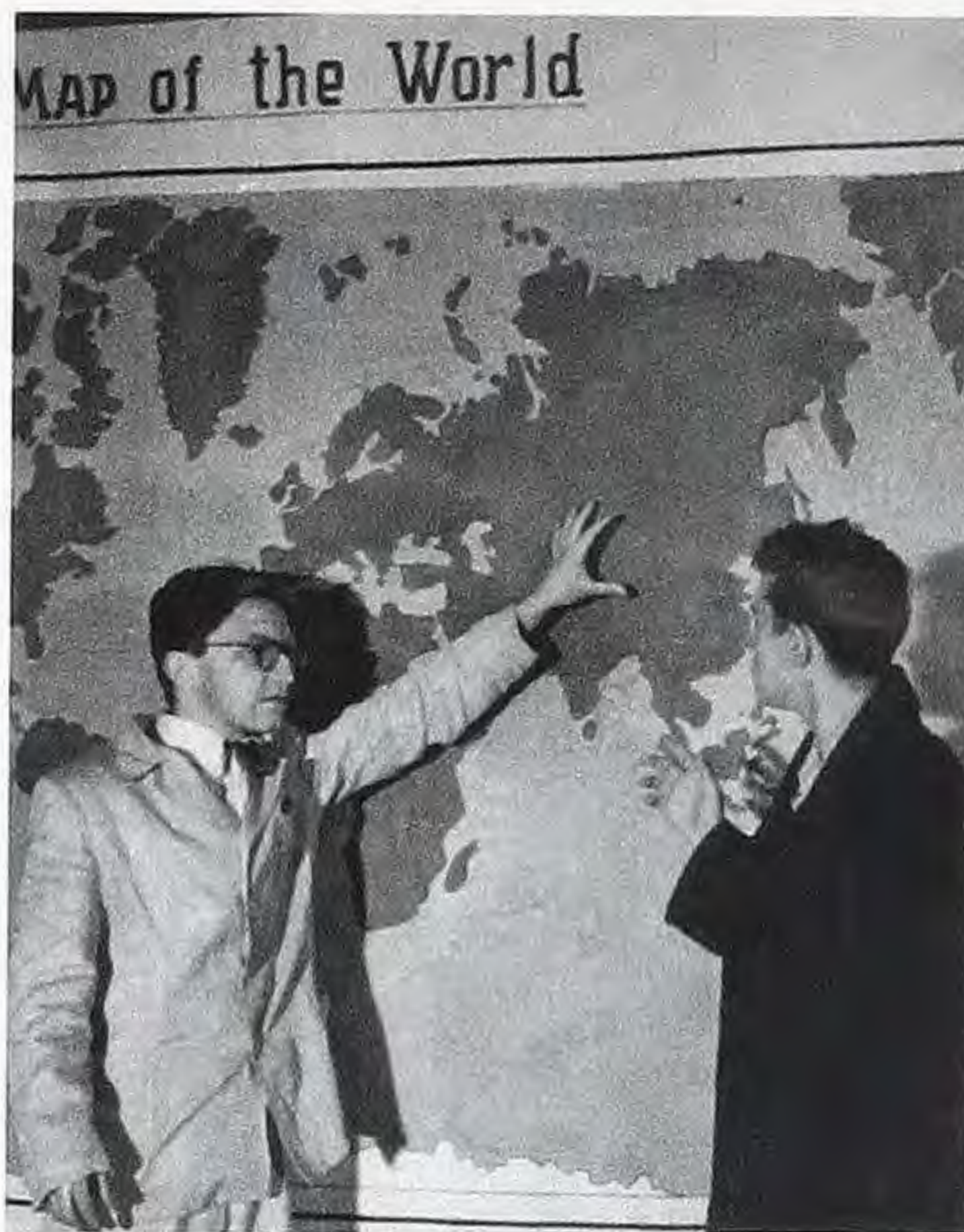
Виля Горский с двоюродной сестрой Марой



Летний лагерь в Ирпене.
Рядом с В. Горским – Михаил Красовицкий. 1950 год



Вилен Горский и Михаил Бычваров – друзья-студенты. 1951 год



В. Горский на сцене.
Спектакль студенческого театра. Начало 1950-х годов



Молодой учитель. Школа в Новой Одессе. Середина 1950-х годов



Пионерское лето. Конец 1950-х годов



Философ. Начало 1980-х годов. Фото С. А. Васильева



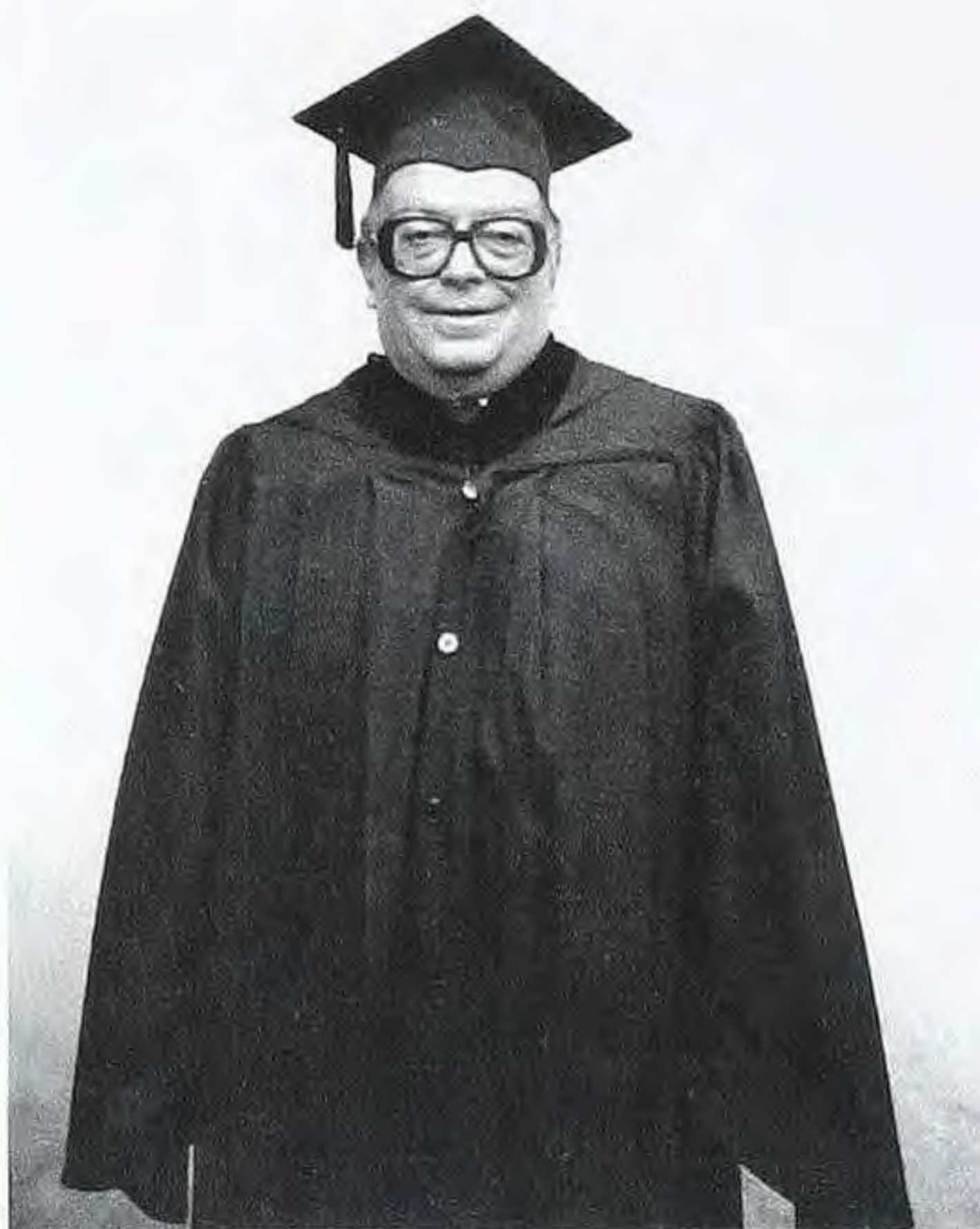
Сотрудники Института философии.
Рядом с В. С. Горским – В. М. Ничик



Летняя философская школа в Алуште.
Первый справа в верхнем ряду М. К. Мамардашвили.
Третий слева в нижнем ряду – Н. З. Чавчавадзе. 1987 год



На конференции в Черкассах.
Рядом с В. С. Горским – Тарас Закидальский /Канада/. 1993 год



Могилянский профессор



На празднике в НаУКМА.
Рядом с В. С. Горским декан философского факультета
Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко А. Е. Конверский. 1994 год



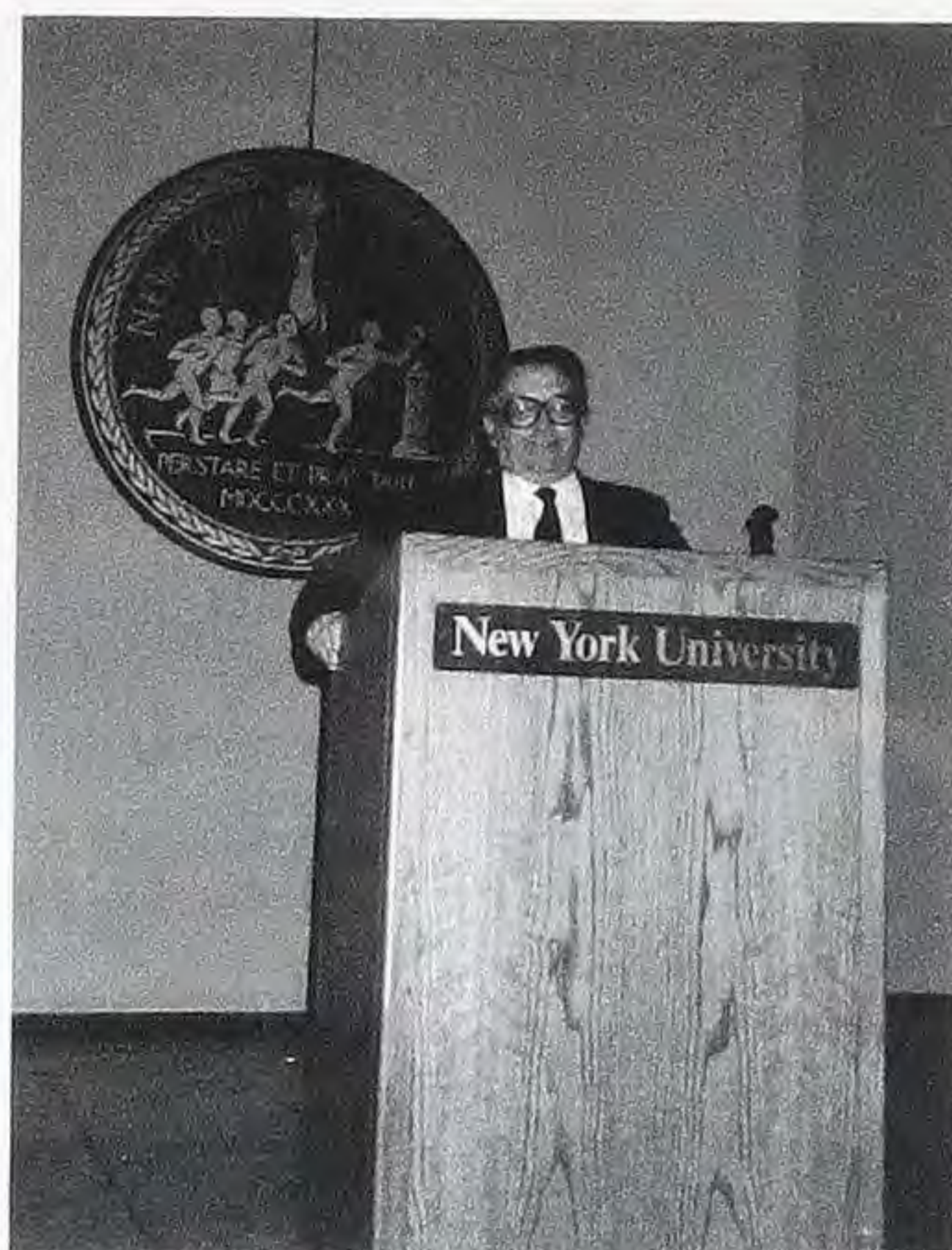
Летняя школа НаУКМА. 1995 год



На приёме у Папы Римского Иоанна Павла II. 1995 год



Под охраной. У летней резиденции Папы. 1995 год



Лекция в Нью-Йоркском университете. 1995 год



Встреча философов в Польше. Слева направо: З. Чернецкий, декан философского факультета Университета имени Марии Кюри-Склодовской, В. И. Гусев, В. С. Горский, А. Г. Тихолаз. Люблин, 1995 год.



В. С. Горский и его
московский коллега М. Н. Громов. 1996 год



В. С. Горский и М. Л. Ткачук с первыми выпускниками
магистериума НаУКМА. 1998 год



За круглым столом. Женева. Первый слева – Жорж Нива / Швейцария/, рядом Мирослав Попович. 1998 год



Рождественский диспут в Конгрегационном зале НаУКМА.
Слева направо: В. С. Горский, В. С. Брюховецкий,
В. Падалка. 2000 год



Вилен Сергеевич с женой Тамилей Васильевной



Семья Горских. Слева направо: сын Сергей, Тамила Васильевна, невестка Наталья, внуки Алиса и Богдан, Вилен Сергеевич

КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ – ЗОЛОТАЯ ГРЁЗА

Итак, мы находимся с Вами в конце 91-го года, и речь у нас пойдет о замаячившей перспективе возрождения Могилянской академии. У меня, Вилен Сергеевич, сразу вопрос к вам такой. Когда существование Киево-Могилянской академии из исторического факта стало для Вас живой реальностью? Когда вы вообще об этом узнали?

Пожалуй, где-то в 90-м году. Состоялось несколько довольно формальных и официальных, но инициативных собраний под эгидой президиума Академии наук Украины, на которых формулировалась идея возрождения Могилянской академии. В этих собраниях из нашего круга принимали участие я, Валерия Михайловна Ничик, Петро Толочко и др.

А кто, собственно, был инициатором всего этого процесса?

А вот я же и говорю, это проходило, кстати, довольно официально через гуманитарную секцию общественных наук Академии. Но до поры это все ограничивалось разговорами, которые не превращались в какую бы то ни было реальную деятельность. Реальная деятельность по воссозданию Могилянской академии это, несомненно, результат инициативы романтиков-авантюристов – иначе их тогда трудно было назвать, – которых объединил Вячеслав

Степанович Брюховецкий. В круг людей, близких к нему, входил, например, Сергей Иванюк, работавший тогда вместе с Брюховецким в Институте литературы, еще несколько человек. Вначале это движение было незаметным для широкой общественности, ему предстояло преодолеть еще ряд организационных и административных трудностей, но в конце 91-года появилось извещение о том, что готовится открытие Могилянской академии, и желающим предлагают принять участие в конкурсе на право чтения в ней тех или иных курсов. Вот, собственно, это объявление меня и подвигло предложить курс лекций по истории украинской философии.

А где Вы увидели это объявление?

Я нашел его в газете.

Под чьим грифом оно было?

Знаешь, я даже не помню под чьим, но, вероятно, уже под грифом Могилянской академии, ведь до официального начала занятий в сентябре 1992 года юридически она уже существовала.

Что значит, что она существовала?

Она существовала – это значит, что в Подольском райисполкоме Академии выделили одну комнату и какие-то общественные фонды. Академия тогда работала в составе Брюховецкого, Иванюка и еще двух-трех человек, которые занимались организационной работой. Я пока к этому никакого отношения не имел и знал об этом всем, скорее, понаслышке.

И что было слышно? Очень интересно, что Вы знали до того об этой работе, о тех людях?

Ну, людей этих я хорошо знал, Брюховецкого особенно хорошо, ведь многие годы до этого мы с ним работали хоть и в разных институтах, но в одном здании на Кирова, 4, где раньше располагался наш институт. Мы с Брюховецким по роду деятельности неоднократно пересекались и с конца 80-х несколько раз вместе принимали участие в телевизионных программах.

Интересно, на какие темы?

Ну, ближайшим образом мне запомнилась какая-то шевченковская передача. Причем, там вышло забавно. Мы оба там были, вначале нас снимали в студии, а потом – прогуливающимися в Мариинском парке, такая себе беседа интеллектуалов на природе. И здесь, пока шла съемка, мы с Брюховецким не на шутку увлеклись разговором, оператор кричит нам: «стоп, снято!», а мы не реагируем, продолжаем дискутировать, нам уже было приятно и интересно друг с другом.

Когда это примерно было?

По-моему, 90-й год, а может быть, 89-й.

То есть это было еще до распада Союза?

Да, да, где-то так.

Вот так мы были знакомы, он работал в Институте литературы, я – в Институте философии. Наше знакомство ни к чему нас друг перед другом не обязывало, и, подавая по объявлению свой проект, я имел скромные намерения – лишь прочитать курс по истории украинской философии во вновь открываемом университете – Киево-Могилянской академии. Идея возрождения Могилянки, как ты понимаешь, была мне уже давно близка, ведь, собственно, могилянской историей, с подачи Валерии Михайловны Ничик, мы у себя в отделе занимались еще с конца 60-х годов. Теперь я очень обрадовался тому, что появились реальные возможности и энтузиасты, способные воплотить идею возрождения Могилянки в реальность. Итак, я с удовольствием отправил по указанному в объявлении адресу план-проспект своего курса.

Через некоторое время меня приглашает на беседу Иванюк, он к тому времени был уже деканом образованного в Академии гуманитарного факультета. Факультет к тому времени уже существовал, да, это было летом 92-го г., когда был объявлен студенческий набор.

Я шел на встречу в полной уверенности, что мы будем обсуждать вопросы, связанные с курсом истории украинской философии, который я подготовил. А Иванюк мне сразу предложил

И как вы сосуществовали с военными?

Достаточно мирно, скажем, я читал лекции, а в это время на плацу, под окнами аудитории, маршировали курсанты.

Вилен Сергеевич, Киево-Могилянская академия была вновь открыта на исторически принадлежавшем ей участке земли, дарованном еще Галишкой Гулевичевой. Откуда там взялось политическое училище, да еще и военно-морское?

Еще с 20-х годов, после того, как была закрыта Киевская духовная академия, её территория и здания были переданы военному ведомству. Тут, в центре Киева, находилось военно-морское политическое училище, готовившее комиссаров и политруков для военно-морского флота.

В Киеве, а где у нас море?

Вот именно, несмотря на то, что Киев весьма далеко от моря расположен, комиссаров военно-морского флота считалось необходимым готовить именно здесь, и именно в помещении бывшей Киево-Могилянской академии, впоследствии Киевской духовной академии.

И сколько лет эта ситуация существовала?

Ну, вот, считай. Я не знаю, существовало ли это училище до войны, но с послевоенного времени и до недавних пор – оно было здесь.

И вот, через полвека они ушли, а в каком состоянии они оставили вам помещение? Все-таки военные, там должен был быть порядок.

Ну, вот учебный корпус, который они оставили сразу, был нормальным, а окончательный их исход был подобен тому, что, как говорят, оставляли советские войска, уходя из бывшей Германской демократической республики.

Вы сказали, окончательный уход, следовательно, они уходили не сразу, поэтапно?

Конечно. Я же уже рассказывал, что первый год мы вообще сосуществовали, по сути, в одном и том же корпусе, а затем

произошло некоторое разделение территории. Вот этот блок зданий, который выходит на Контрактовую площадь, в первую очередь отдали нам, а блок зданий в следующем квартале, где сейчас ректорат и приемная Брюховецкого, где культурно-художественный центр, – весь этот квадрат еще долго оставался в ведении училища. Они там и жили, там были учебные аудитории, казармы, они там были еще года два или три.

То есть, правильно ли я поняла, что весь этот квадрат от Контрактовой до Волошской...

...оставался в ведении Военно-морского политического училища несколько лет. И только потом он был передан нам, причем в моменты передачи наш Иванюк буквально стоял на стреме, потому что доходило до того, что они сдавали здание, где были сорваны двери, откручены ручки.

Что, забирали?

Забирали. Паркет там пытались сорвать и т. д. Иванюк, он уже ректором был тогда, так сказать, грудью отстаивал каждую пядь земли, которая должна была быть передана.

Студенты не организовывали дежурства? Там «стенки на стенку» не было?

Нет, нет, «стенки на стенку» не было. И, вообще, это шло уже, скорее, не по линии студенческой, а по линии административной. Курсантов там уже не было, а вот вся эта хозяйственная часть военная эвакуировалась вот таким образом. Ни о каких конфликтах между студентами и курсантами я не знаю; как я уже говорил, они существовали на общем пространстве как бы параллельно и довольно толерантно.

Вилен Сергеевич, я хочу спросить: действительно, ли это был беспрецедентный случай – передача под гуманитарный вуз военного учреждения?

Ну, может быть, это у нас был первый случай, но в принципе он был вполне в духе веяний и настроений 90-х годов.

раньше и без моей подачи проректором по научной работе Киево-Могилянской академии стал Мирослав Попович.

С первого дня?

Да. Правда, через какое-то время он ушел, потому что совмещать проректорство и работу в институте ему было сложно. Но организацию работы во время студенческого набора и первых месяцев учебы осуществлял именно он, и очень успешно. Далее, первыми преподавателями, начавшими, так сказать, полноценный процесс обучения, стали мои институтские коллеги Витя Малахов и Сережа Крымский. Они были у меня, так сказать, приглашенными профессорами и работали у нас по совместительству, а штатными сотрудниками кафедры стали Тихолаз и Гусев, которые полностью перешли на работу к нам.

А откуда они пришли?

А вот они пришли как раз с кафедры истории философии Киевского университета.

Что, из стана противника?

Ну, не совсем. Мне кажется, что их уход из университета был, в первую очередь, связан с каким-то внутрикафедральным конфликтом; впрочем, подробнее я уже не помню, тем более что свое решение об уходе из университета они принимали, по всей видимости, раньше меня и от меня независимо.

Вилен Сергеевич, следовательно, кафедра первоначально состояла из пяти человек?

Выходит, так. Нас трое штатных и два приглашенных.

И вы читали все курсы?

Философские – да, а религиоведение я сразу отдал Колодному.

Он был в штате или тоже приглашенный?

Нет, приглашенный на полставки.

Итак, насколько я поняла, новшество было несколько. Во-первых, сочетание штатных и внештатных преподавателей, что для традиционного университета у нас было невозможно. Во-вторых, то, что Вы принципиально объединили в одном лице преподавателя и ученого.

Более того, принципиально речь шла о том, что на кафедре основной состав – это будут как раз не штатные, а совместители. Понимаешь, я хотел, чтобы каждый курс читался специалистом в своей области. Я стремился, чтобы не было такого, что один человек, как это делалось традиционно, читал все.

То есть, штатный преподаватель, который читает все, вам не подходил?

Да, не подходил такой штатный сотрудник, который читал метафизику, гносеологию, этику, эстетику и даже религиоведение. Я как завкафедрой всячески старался этого избежать. Мы свою программу обучения строили так, чтобы каждый специальный курс читался лучшим специалистом в этой области. А поскольку специальный курс не обеспечивал количества часов для штатной преподавательской нагрузки, преобладающими на кафедре по замыслу должны были стать не штатные сотрудники, а ученые, приглашаемые на свой отдельный курс. Это, конечно, создавало дополнительные трудности для завкафедрой и для администрации, но это соответствовало новому типу обучения, каким он мне тогда представлялся.

А вот теперь о программе обучения, как она формировалась?

Я мыслил себе привлечение студентов к сфере философии как движение по спирали. В этом движении я условно обозначил три круга. Первый круг – это, так сказать, наиболее широкое ознакомление студентов с философской мыслью, с её основными вопросами и проблемами – такой пропедевтический курс, который является обязательным для любого студента Могиланской академии, независимо от его специализации. Для тех студентов, которые выбрали для себя гуманитарный факультет,

еще раз вернуться к осмыслению общей картины этой дисциплины. Вообще, по прошествии времени, мы вот сейчас приходим к выводу о том, что итогом бакалаврата и критерием приобретенного студентами философского уровня должна быть не дипломная работа по типу диссертации, а, скорее, устный госэкзамен, потому что такая дипломная работа подталкивает их как раз к чрезмерно ранней узкой специализации, а госэкзамен – он то и обеспечивает необходимость приобретения в осмыслении философского поля разнообразных контекстов и более широкого обзора. Но эта методическая проблема встала перед нами сейчас, а тогда мы ничего этого не видели, и наша задумка представлялась нам почти идеальной.

Вилен Сергеевич, а вот тогда, создавая свою инновационную программу, вы все же могли опираться уже на чей-то опыт или выработывали её, имея в виду лишь очевидные недостатки традиционных программ, отталкиваясь, так сказать, от противоположного?

Действовать от противоположного для создания новой программы явно недостаточно. Мы были в активном поиске такого опыта. Собственно, это началось еще без меня. В год, предшествующий моему приходу в Могилянку, т.е. до начала занятий, группа инициаторов во главе с Брюховецким объездила много стран Европы и Америки, знакомясь с тамошней системой обучения. Собственно, система «Liberal arts» (свободные искусства) с преобладанием выборных дисциплин, взята была из американского опыта; кроме того, оттуда же мы позаимствовали систему перманентного оценивания знаний, которое не позволяло студенту бездельничать в триместре, потому что суммарная оценка складывалась из его текущей работы и сдаваемого впоследствии экзамена. Кроме того, нам очень понравился принцип обучения в западных университетах, в соответствии с которым список курсов, помимо обязательных, студент выбирал себе сам, составляя для каждого года свой индивидуальный план обучения. И сейчас, примерно к концу марта, студенты у нас подают на утверждение в деканат индивидуальные планы своей работы на следующий учебный год.

То есть вы у себя внедрили европейско-американский опыт?

Да. Причем, мы их опыт с течением времени корректировали применительно к нашей специфике. Первый год – это был невероятно мучительный процесс. Мы все должны были быть кураторами этих студентов, они абсолютно терялись, не понимали, как это делать. Один вписывал себя в сотню курсов, объясняя это тем, что все это ему интересно и необходимо, абсолютно не соотнося это ни со своим временем, ни со своими физическими возможностями. Другой, напротив, выбирал минимум, что традиционно для студенческой логики, но не отвечало логике нашей. Тем не менее, это новшество приучало студентов сознательно и избирательно подходить к тому, что им предлагают. Так вот, я рассказывал о заимствованном нами зарубежном опыте. Я говорил, что первые такие ознакомительные поездки были еще без меня, а потом, когда я уже стал деканом гуманитарного факультета, мы, в свою очередь, поездили по Америке с той же целью.

Посмотрели, как это делается?

Да, и это оказалось для нас очень полезным, потому что анализ такого опыта и внедрение его у нас рождало и собственную инициативу.

Я Вас хотела поспрашивать еще вот о чем: анализируя уже собственный опыт, приобретенный вами с течением времени, не находите ли вы, что существует некое противоречие между так четко и красиво выстроенными в вашей программе тремя кругами овладения материалом и идеей выборности курсов самими студентами? То есть, не нарушают ли студенты своим выбором запланированную вами структуру?

Нет, не нахожу, ведь выборность дисциплин и курсов не абсолютна. В процессе обучения выборные курсы составляют процентов шестьдесят от общего количества, таким образом, процентов сорок курсов остаются общеобязательными и нормативными, что обеспечивает ту структуру, о которой шла речь. Кроме того, доля выборных дисциплин неравномерна в процессе обучения.

На первом и втором круге почти все предметы и их очередность нормативны, т.е. обязательны. На практике это выглядит так: первый круг обязателен для всех, без выбора; второй круг обязателен для тех, кто специализируется по философии, для всех прочих он переходит в ранг их свободного выбора. А третий круг – исключительно выборный.

Ну и как, схема оказалась жизнеспособной, идея воплотилась нормально?

Ну, как нормально... Ведь идеал он на то и идеал, чтобы не быть реализованным. Если он абсолютно реализован, то перестает быть идеалом. Конечно же, в конкретной реальности все это оказалось значительно сложнее и противоречивей, нежели вот в такой идеально нарисованной схеме. Что-то проявилось, что-то дало свой результат, а что-то – не дало. К примеру, я уже говорил об угрозе того, что когда вначале идут только общеобязательные предметы, а потом наступает углубленность в выборную конкретику, студент в итоге забывает об элементарных вещах общего контекста, если не сталкивается с ними случайно.

А для философа это важно, сохранить общий контекст?

Еще бы. Значит надо подумать о том, как этот общий контекст не утерять в процессе обучения, или с необходимостью вернуться к нему в самом конце. По-разному выглядели и результаты внедрения оценочных рейтингов. Нерадивый студент ведь не просто немножко ленивый, но и довольно сообразительный, и поэтому обходить все те, так сказать, капканы, которые мы выстроили на пути его возможного безделья, он умудряется почти безболезненно. Далее, была идея заставить студента работать систематически в течение всего года, а не только в ночь накануне сессии. На практике она воплотилась частично; оказывается, есть все же возможность не посещать лекции и даже не ходить на семинары, из-за того, что в практику вошли так называемые письменные отработки. То есть, нерадивый студент может подготовиться к сдаче не за одну, а, скажем, за две, ну или за три ночи, за которые он свои

отработки напишет (как правило, скатает откуда-нибудь ответы на вопросы пропущенного семинара и таким образом получит свою оценку).

А, кстати, преподаватель может с этим не согласиться?

Ну, я не знаю. Вроде, такого не бывает. В любом случае, ты видишь, в процессе реализации самого хорошего начинания возникают тысячи препятствий и иногда довольно сложных.

Вилен Сергеевич, мне кажется очень важным, что Вы сейчас рассказываете о своих идеях в контексте теперь уже многолетнего опыта их воплощения. У меня тоже есть такой опыт, я ведь тоже преподаватель вашей кафедры. И хотела бы узнать ваше мнение вот о чем: наша программа, как мне кажется, с первого курса учит формулировать свои мысли в письменной форме. С самого начала мы стимулируем студентов не только говорить, но и писать, и вот я вижу, что они у нас в итоге не столько «читатели», сколько «писатели». Как, по-вашему, это ценное приобретение? Не мешает ли это всему остальному, не оказывается ли так, что студенту уже с первого курса интереснее излагать собственные мысли, чем постигать чужие?

Сложный вопрос. Я тоже над этим думал. Я не могу сейчас ответить однозначно. Вот видишь, и это должно стать предметом специального нашего осмысления.

Тогда другой вопрос, уже вроде бы чисто технический, наблевший. Очевидно, что наша система, требующая от студента непрерывной работы в течение триместра, резко увеличивает нагрузку на семинары. Для студента становится почти обязательной его подготовка к каждому семинару и возможность на семинаре ответить и получить свой поточный бал. Ваш опыт подсказывает ли Вам оптимальное количество студентов в группе, которых преподаватель физически успел бы опросить на таком семинаре за два академических часа? Насколько это совпадает с нормативами семинарских групп, существующими у нас реально?

Ну, конечно, не совпадает, вот тебе и первое противоречие. Я считаю, что количество студентов не должно превышать 10-15 человек в группе, и то это предполагает очень трудную и напряженную работу и преподавателей, и студентов, обеспечивающую им возможность активно высказываться. Но у нас же количество студентов в группе определяет не преподаватель, работающий в ней, а Министерство финансов, которое из своих соображений, не имеющих к процессу преподавания никакого отношения, диктует количественный состав групп. На сегодняшний день семинарская группа у нас, как правило, состоит из 28-30 человек.

Понятно, что это с нашей системой обучения не согласуется.

Еще как не согласуется. Ведь согласованная с нашей системой обучения система финансирования становится гораздо более дорогостоящей, требующей значительного увеличения количества групп, и, соответственно, количества преподавателей. Если бы это было так, как на Западе, то в группе могло бы быть и пять человек тоже.

Что для философского дискурса было бы просто замечательно. Что об этом говорит ваш американский и европейский опыт, сколько там человек в обычной семинарской группе?

А семинарские группы там очень небольшие. Максимум до десяти человек.

Вот это оно самое.

Да, но, видишь ли, там это оплачивает не столько государство, сколько сами студенты; по-моему, это нормально, но мы же на это не можем пойти. Кстати, и в этом, мне кажется, лежит причина того, что студенты у нас не столько говорят, сколько пишут: у них просто нет возможности, нет и временной возможности говорить, а у нас – их выслушать. То, что мы их учим писать, это, мне кажется, несомненное преимущество, достоинство наше, но умение писать предполагалось в сочетании с не менее серьезной практикой устного говорения и диалога на семинарских занятиях. В итоге, честно сказать, я сейчас далек от представления о ныне существу-

ющем типе обучения у нас как идеальном. Хотя отдельные вещи, мне кажется, заслуживают всяческого поощрения.

А что, по Вашему, заслуживает такого поощрения несомненно?

Прежде всего, это воспитание в наших студентах творческой, самостоятельной и ответственной личности, причем не только в философском поиске, но и в самоорганизации. Я не знаю прецедента, во всяком случае, не слышал о нем в каком бы то ни было нашем вузе, когда проведение республиканской студенческой конференции, включая все вплоть до поиска спонсоров, осуществлялось бы сутоубо по инициативе самих студентов, независимо от кафедры или ректората. У нас же это стало возможным. И вот сейчас, организуя такую конференцию, мои студенты, конечно, советуются с некоторыми профессорами, т.е. их самостоятельность – это не протест против кафедры. Но они считают, что это дело, которое касается их, которое их волнует, это способ их современного бытия в философии, поэтому они уже не ждут, что кто-то им это преподнесет. Могла ли бы ты себе представить раньше такое?

С трудом. А можно ли считать это результатом вашего четырнадцатилетнего опыта?

Мне кажется, да. Причем опыта не столько даже нашей кафедры, сколько Могиланки в целом. Здесь сказывается дух Могиланки, умонастроение её студентов. Все-таки при всех недостатках и при всем несовершенстве тех знаний, которые они получают, – могли бы быть некоторые лекции лучше, нежели они есть, могли бы быть более достойными некоторые преподаватели, а студент мог бы быть более дисциплинированным и т.п., – мне кажется, уже сформировался некий облик студента Могиланской академии, который отличает его даже от не менее талантливых (а талантливые есть повсюду) студентов других вузов.

А вот я, вредина, с вашего позволения, зацеплюсь за ваши слова «независимо от кафедры». В связи с этим мой следующий вопрос. Понятно, что мы на наших студентов где-то к 3-му курсу

смотрим уже как на партнеров, и их это очень устраивает. При этом каждый преподаватель занимается своей отдельной темой так же, как и студенты занимаются каждый своей. Проблемная ситуация возникает, когда темы преподавательского и студенческого поиска не совпадают. Что делать студенту в случае, если он не может получить на кафедре квалифицированного научного руководства? Естественно, что такой проблемы в традиционном университете практически не возникает. А вот здесь она есть, но мне, это само по себе несомненное достоинство, но как все же эту проблему решать?

А я не знаю... не знаю, как решать, т.е. не могу дать однозначного ответа. Есть, конечно, некоторая практика, но она малоэффективна – практика приглашения к руководству в отдельных случаях специалистов-консультантов, у нас не работающих.

Но, наверное, это же тоже входит в противоречие с административно-финансовой системой?

В том-то и дело, хотя иногда, так сказать, в обход, это реализуется. Трудно сказать.

Можно ли отнести это к проблемам роста, которые говорят о достоинствах системы больше, чем о её недостатках?

Да, я думаю, что это проблемы роста. Эти сложности в настоящее время, конечно, еще не преодолены, и я не знаю общего принципа их преодоления; думаю, что правильно будет решать их, исходя из каждого конкретного случая. Если же говорить о каком-то общем рецепте, который мне приходит в голову, то в основе должно лежать возрастание личностного фактора, углубление личных отношений студента и кафедры, студента и научного руководителя. Я это вижу вот как. Студент, безусловно, имеет право на свой научный интерес. Мы констатируем, что непосредственно в составе кафедры нет человека, который мог бы квалифицированно его консультировать в избранной им проблеме, то есть быть его научным руководителем. Тогда эти два человека должны пытаться идти друг другу навстречу, жертвуя каждый чем-то, и найти

какую-то общую точку, которая может быть одинаково полезна и интересна студенту, с одной стороны, и его руководителю, который должен «подучиться» до возможности квалифицированного научного руководства данным студентом, с другой.

Кроме того, очевидно, что преподаватель, чем бы он ни занимался, всегда может оказать студенту общеметодическую помощь?

Ты понимаешь, конечно, методическую в любом случае. Но, с другой стороны, мне бы очень не хотелось, чтобы научное руководство выливалось в чисто методическое, чтобы преподаватель был только методистом, как это обычно и бывает в таких случаях: «какая, мол, разница, о чем он пишет, хоть о Лао-цзы – я буду руководить им, хотя никогда в жизни китайской философией не занимался. Действительно, методически при этом я как-то могу помочь, например, сформулировать там актуальность проблемы и все такое прочее». Очень хочется, чтобы здесь была не только внешняя методическая помощь, а чтобы между руководителем и студентом возможен был и содержательный диалог. Может быть, в выборе студенческой темы в таком случае нужно поискать точку, где взаимопереплетаются их научные интересы, и уже исходя из этого формулировать то учебное задание, на основе которого этот диалог должен состояться. А все прочее будет осуществляться за рамками этого диалога.

Вилен Сергеевич, мне кажется, что при всех сложностях, возникающих здесь, наличие у нас таких «ненормативных» студентов, которые вдруг начинают заниматься в философии чем-то таким, что нам и в голову не придет, имеет для нас несомненную положительную сторону – оно заставляет нас всегда быть в хорошей, а главное, современной философской форме, так сказать, побуждает нас все время поднимать планку.

Несомненно, полноценный диалог с таким студентом для нас очень полезен и важен, ведь из желания именно такого диалога и рождалась наша идея Могилянки как второго высшего

образования. И действительно, первые два года мы старались набирать людей уже с законченным или почти законченным высшим образованием. Хотя уже в процессе приема заявлений мы поняли, что, следуя такому принципу, достаточного количества студентов мы не наберем.

А кстати, давайте вернемся к самому первому набору, ведь именно там, сколько я помню, люди, пришедшие за вторым образованием, были.

Да, были – на две трети. Ну, в первую очередь, Миша Минаков, Юра Завгородний. Кто такой Юра Завгородний? Он окончил исторический факультет Запорожского университета, а после этого поступил к нам. Сережа Капранов поступил к нам, уже имея диплом политехнического института. Лена Вдовина пришла к нам после четвертого курса Ивано-Франковского университета, филолог. Люда Архипова. И так почти весь курс, сейчас таких, к сожалению, становится все меньше и меньше. Но важно, что с этими ребятами работалось совсем по-иному, ведь режим даже самого плохого вуза несравним с режимом средней школы. Мы говорили тогда и сейчас говорим нашим студентам: вы приходите сюда не для того, чтобы вас научили, а для того, чтобы научиться – вы сами себя учите, а мы вам помогаем.

Вилен Сергеевич, а откуда взялась идея встречных рейтингов – оценивания студентами преподавателей? Как Вы сейчас к этому относитесь, исходя из вашего личного опыта?

А это тоже было заимствовано Брюховецким в американском вузе, у них это совершенно обязательная процедура, причем два раза в год.

Это что, какая-то особая университетская традиция?

Да нет, это у них почти в каждом вузе такое. Ну, немножко меняется перечень вопросов, могут добавляться различные социологические и психологические измерения, но, в принципе, это общая практика.

И как это выдерживают преподаватели?

Конечно, преподаватели бурчат и ругаются, и говорят, что все это не отвечает реальной, объективной, так сказать, оценке их деятельности, тем не менее, все согласны с тем, что никакого другого более оптимального варианта обратной связи, чем взаимооценивание, нет и быть не может.

А я вот помню, что поначалу у нас эти рейтинги не только регулярно проводились, но их результаты вывешивались на стенке перед каждой кафедрой. Теперь же этого нет. Результаты рейтингов затеряны по деканатам; как Вы думаете, почему?

А это уже зависит от отношения к этому делу кафедры.

Так это теперь кафедра определяет?

Наверное.

Как Вам кажется, есть смысл в такого рода публичном рейтинге?

Есть смысл. Ведь преподаватель – это публичная в рамках своей структуры личность, и она должна предстать перед всеми во всей своей красе, так сказать, со всех точек зрения.

То есть, если ты за это берешься, то ты должен быть готов к такого рода оценкам и к их публичности?

Кстати, здесь ничего нового нет. Ведь и так складывается, я думаю, во всех вузах мира, как и в наших, своеобразный неофициальный преподавательский имидж. Ведь и без проведения всяких опросов и рейтингов, студенты очень быстро разбираются в преподавателях, «Who is who» (кто есть кто). Просто вопрос в том, с какой степенью доверия, публичности, открытости, учитывая достоинство студента как личности, относятся к нему преподаватели.

Я хотела еще спросить вот о чем: за 14 лет работы были ли какие-то события, связанные с жизнью кафедры, с судьбами студентов, с академической преемственностью, которые стали для вас знаковыми?

Видишь ли, приняв кафедру, я же был, в хорошем смысле этого слова, «испорчен» Институтом философии. А Институт философии, начиная с Копнина, и это очень ценно было в нем, строился по принципу семьи. Это, действительно, было содружество. Я, может быть, даже подсознательно, стремился строить работу кафедры и ее взаимодействие со студентами по принципу семьи. Что-то из этого получилось. И в этом отношении для меня значимой была система летних философских школ, когда мы с нашими студентами вместе выезжали на природу, жили вместе и очень интенсивно там работали. Это был не просто отдых.

То есть, это была учеба?

Да, у нас были диспуты, семинары, дискуссии, лекции. Днем мы занимались, а вечерами пели песни под гитару Вити Котусенко. Кстати, результатом этих школ были у нас не только научные достижения, но и студенческие свадьбы. То есть, здесь у нас формировалась, действительно, семья, в которой преподаватели и студенты объединялись не только по аудиторному расписанию на час двадцать вместе, – мы здесь вместе думали, вместе спорили, вместе смеялись и вместе жили, и здесь складывались такие научные и личностные контакты, которые не утратились с течением лет; они живы и по сей день. К сожалению, сегодня таких школ мы уже не проводим, нет сейчас для этого ни физических, ни финансовых возможностей.

А сколько у вас таких школ вообще было?

Кажется, семь. И были они под Киевом, в Пуще Водице, Кончезаспе, даже в Евпатории. Незабываемые счастливые времена... А еще знаковым событием у нас поначалу были ежегодные Рождественские философские диспуты – возрожденная нами традиция той старой Могилянки.

Да, на первых таких диспутах в девяносто третьем, четвертом, пятом году я была тоже, и могу сказать, что студенты тогда удивили меня не только своим энтузиазмом, но и образованностью.

Именно там ведь обозначилась та молодежь, которая впоследствии стала нашими коллегами в прямом смысле, преподавателями нашей кафедры.

Да, да. Как жаль, что теперь эта традиция и летних школ, и диспутов сошла на нет. Причем, со школами это еще можно объяснить, потому что каждая школа давалась нам, организаторам, кровью и потом, да и деньги надо было находить, а это с каждым годом становилось тяжелее и тяжелее. А вот почему прекратились диспуты – непонятно, энтузиазм иссяк, что ли? Грустно, хотя вот сейчас, буквально в последний год, что-то возрождается опять, и исключительно благодаря студентам, которые взяли организацию диспутов всецело на себя. Кроме того, в последнее время уже возникают вполне самостоятельно разные студенческие философские кружки, так, кружок христианской философии они создали, различные кружки по философии и культуре Древнего Востока, там они уже сами собираются, как правило, без преподавателя.

Ну почему, у Виктора Котусенко, уже преподавателя – свой кружок по средневековью.

Да, да, вчерашнего студента... И еще одно событие, я уже о нем специально говорил, оно для меня и знаковое, и радостное, и вселяющее некую надежду. Это организация и проведение студентами старших курсов серьезной научной конференции, на которую они пригласили преподавателей, они даже спонсоров этой конференции сами нашли из числа бывших выпускников нашего факультета! Я просто диву давался! И сейчас, насколько мне известно, они носятся с идеей создания объединения выпускников, философов-выпускников Могилянской академии.

Я знаю уже, что создан оргкомитет.

Вообще, видишь, формы внеаудиторной научной студенческой жизни у нас достаточно разнообразны, и это разнообразие кажется мне очень плодотворным, и, конечно, таким же, вселяющим надежду, представляется мне и сохранение неформальной,

неофициальной семейной стороны студенческого и преподавательского бытия, общности философов как таковых.

А то, что инициатива всего этого переместилась от преподавателей к студентам, – на ваш взгляд, это хорошо?

С одной стороны, это хорошо: значит, мы своих студентов и в личностном плане чему-то все-таки учим. Я не вижу, чтобы пришедший к нам на первый курс выпускник десятого класса, так сказать, психологически был готов к такой инициативе. А если он к четвертому курсу до неё дорастает, значит, недаром он здесь находился. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы кафедра и в этом плане не теряла своих позиций. Кстати, сегодняшнее отношение студентов к преподавателям тоже избирательно. Вот в процессе подготовки к конференции, о которой я говорил, ребята даже ездили ко мне домой, советовались, принесли мне на рассмотрение программу, мы её обсуждали, корректировали. С ними постоянно работают Юра Завгородний, Витя Котусенко, Миша Минаков. Так что кафедра в этом смысле работает; хотелось бы, конечно, чтобы вся кафедра в этом участвовала, а не только те преподаватели, которые еще недавно сами были нашими студентами.

А вот о наших бывших студентах, тех, которые преподают теперь у нас же философию: путь на кафедру у них был прямой?

Витя Котусенко поступил на естественный факультет, и год проучился там. И только прослушав курс философской пропедевтики, решил переводиться к нам, на философское отделение гуманитарного факультета. Вот это тоже составляет специфику образовательной системы Могилянки – первые два года тебе даются на приглядку, так сказать, и выработку окончательной своей ориентации с точки зрения грядущей специализации. Этим воспользовались в свое время и Лена Вдовина, и Миша Минаков.

И поступили правильно.

И мы в них не ошиблись. Хотелось бы, чтобы таких ребят у нас было больше.

А вот можете ли Вы назвать тех талантливых студентов, которых мы потеряли вследствие того, что им просто надо было зарабатывать на жизнь? Я имею в виду способных ребят, которые ушли из нашего круга по различным причинам, и о потере которых приходится сожалеть.

Ну вот, мы потеряли такого студента, Филоненко. Еще один, фамилии которого сейчас, к сожалению, не вспомню, кажется, из Харькова, друг нашего Маевского, он замечательным переводчиком был. Едва не выпала из профессии Люда Архипова. Она сейчас бьется, все силы прилагая к тому, чтобы заниматься любимым делом, чтобы ее окончательно не отрешили от возможности преподавать в Могилянке. Она согласна это делать даже на волонтерских началах.

А вот есть ли у нас ребята, которые сделали шаг от Могилянки к Институту философии?

Ну, конечно, я же сам оттудошний, и я хорошо понимаю, что такое для исследователя Институт философии. Для человека, углубленно занимающегося, скажем, Киевской Русью, преподавательских часов на изложение такого курса в вузе, даже в нашем, конечно же, не наберешь. Для таких ребят идеальным местом является именно исследовательский институт. Я всеми силами стараюсь им помочь. Так в институт ушли Олена Вдовина, тот же Юра Завгородний. Сейчас решается судьба Миколы Симчича.

Это, конечно, будет потеря для Могилянки, но и хорошее приобретение для Института.

Вот мне вчера звонил Лисовой Василий Семенович, говорит, что литовцы предложили сотрудничество, какой-то совместный проект. Симчич услышал, аж подскочил до небес, говорит: Вильнюс – это то, куда мне надо в первую очередь, ведь там хранятся рукописи, которыми я занимаюсь.

Смотрите, как смыкается круг: Вы шли от Института к Могилянке, и теперь как бы возвращаете институту своих выучеников.

Ну, понимаешь, я пришел в Могилянку, не переставая числить себя членом институтского братства. Поэтому связь моих учеников с институтом естественна. Институт для меня продолжает родным домом быть, и я с удовольствием лучших своих студентов отдаю в институт просто потому, что там им место. Но мои кафедральные философские контакты не ограничиваются институтом. В конце концов, наладились тесные дружеские отношения и с философским факультетом университета Шевченко, ведь там тоже мои бывшие студенты. Анатолий Лой и его кафедра, у нас очень тесные контакты, они у нас тоже некоторые курсы читают.

Вилен Сергеевич, а вот сегодня хотели бы Вы сами непосредственно участвовать в работе института, ближайшим образом, нашего отдела? Видите ли Вы те направления, те исследования, в которых Вам хотелось бы поучаствовать с нами вместе?

Ну, сейчас я для себя такой возможности не вижу просто физически, сил не хватает.

Скажем, участие в какой-то монографии?

Нет, вряд ли.

А, кстати, кому вы передали свой сектор Киевской Руси в институте?

Ну, формально Бондарю. Ну, он там работает и делает какую-то полезную работу, несомненно, но вот не вижу я движения. Сейчас, вроде бы, мою эстафету подхватили Юра Завгородний и Лена Вдовина. Они организовали научную конференцию на моё 75-летие, книжку издали, они уже устанавливают контакт и поддерживают отношения со специалистами, которые работают в этой области в Москве...

Конечно, вся плеяда участников наших медиевистических семинаров в этом задействована, но, Вилен Сергеевич, ведь это невозможно скрыть, трагедией для нашего отдела стали два обстоятельства: смерть Валерии Михайловны Ничик и ваш уход

из института. Собственно говоря, от этой травмы отдел не оправился и по сей день.

Теперь надежда на молодых....Ну, и, конечно, вы должны принять их без претензий и, в свою очередь, дорастить до надлежащего научного уровня. Пусть у них исследовательской культуры пока еще не хватает. Что-то они и сейчас могут, чего-то еще не могут, но, главное, таланта и энтузиазма у них достаточно.

Вилен Сергеевич, давайте поговорим еще о студентах, оглядываясь на весь ваш опыт работы с ними, начиная еще с вашего преподавания в университете Шевченко в 70-е годы. Изменился ли за это время студент, чем, по-Вашему, нынешний студент отличается от тех, предыдущих?

Ты имеешь в виду могилянских?

Не только. Итак, первые ваши университетские студенты – студенты 70-х годов, студенты первых годов Могилянки, т.е. 90-х, и теперешние. Чем они похожи, чем отличаются друг от друга?

Студент 70-х годов был больше учеником, в нем как-то не замечалось качественное различие между учеником одиннадцатого класса и студентом первого курса, так мне казалось. Студент Могилянки 90-х годов принципиально отличен от школьника, он – самостоятельная личность. Кроме того, в начале 90-х, как я уже рассказывал, чтобы идти во вновь возрождаемую из небытия Могилянку, надо было быть романтиком. Мало того, что вообще о существовании и старой Могилянки люди не очень-то помнили, перспектива получения диплома никому не известного вуза была сомнительной, особенно если учесть, что туда устремились те, кто уже либо имел диплом, либо через год-другой мог его получить. Я хочу сказать, что в это время Могилянка не была тем местом, куда родители хотели привести своего сына или дочку с тем, чтобы получить потом престижный диплом. Поэтому в первые годы к нам шли не столько за дипломом, сколько за знаниями, те, кто разделял наш энтузиазм создать вуз нового типа на пустом месте. Надо сказать, что этот энтузиазм был весьма осязаемым и проявлялся,

подчас, в неожиданных для нас формах. Он чувствовался в аудиториях, в вопросах, которые задавали студенты на лекциях, он изменил отношение студентов к ценности приобретаемых ими знаний. Однажды ко мне в кабинет пришел третьекурсник и возмущенно сказал, что не видит смысла в общих фразах одного уважаемого профессора: «Вілене Сергійовичу, я не для того сюди вступав, щоб мені лапшу на вуха вішали. Це мені робили і в Львівському університеті». Представляешь, студент приходит вполне вежливо к заведующему кафедрой и говорит такое, тем более, что, в данном случае, относительно нашего профессора он был абсолютно прав. Вот что за поколение студентов было. И несмотря на дополнительные хлопоты, с ними приятно было работать. Теперь все сложнее, нынче Могилянка – уже престижный университет.

Сегодня в Могилянку хотят отдать своих детей, и поэтому к нам идут не только по велению души и сердца, а зачастую и по велению своих родителей, мечтающих о том, что их отпрыск, просидев в наших стенах четыре года, сможет помахивать во все стороны престижной могилянской корочкой. Их, таких, довольно много, и не скрою, это уже начинает сказываться на нашем студенческом климате.

И что, даже для кафедры философии это характерно?

Ну, может быть, меньше, чем для других, но и у нас это уже чувствуется и, конечно, меняет принцип отношений студентов и преподавателей.

Интересно, а не чем это сказалось в первую очередь?

Ты знаешь, мне кажется, первой пострадала идея свободного посещения лекций – принцип, который с самого начала ввел и по сей день продолжает защищать Брюховецкий. Я его прекрасно понимаю, это один из наших основополагающих принципов доверия и взаимоуважения между преподавателями и студентами. Но это возможно только тогда, когда тем, что нас объединяет, является цель максимально эффективного получения знаний. Ведь если студент за полтора часа лекции убеждается, что эти же знания он

может быстрее и эффективнее получить, скажем, в читальном зале или на другой, более глубокой лекции, ради Бога, пусть идет и поступает, как считает нужным, это его святое право. Но, к сожалению, среди теперешних могилянцев много таких, которые пользуются этим формальным правом не для работы в читалке или посещения другой лекции, а для приятного времяпрепровождения в различных прочих сферах студенческой жизнедеятельности, ничего общего с приобретением знаний не имеющих. Вот проблема. Хочется надеяться все же, что это не сбой в работе нашей программы, а, скорее, болезнь роста, и адекватное решение будет найдено.

Я думаю, что в любом случае нужно делать все необходимое для того, чтобы пребывание в стенах Могилянки таких горе-студентов становилось принципиально невозможным. Впрочем, я, Вилен Сергеевич, вижу еще одну проблему, характерную не только для Могилянки: я имею в виду коммерциализацию нашего высшего образования. Как, по Вашему, она уже отразилась на контингенте наших студентов, на их системе приоритетов в выборе профессии – ведь понятно, что профессия философа никаких коммерческих перспектив в скором времени не сулит? У нас на кафедре философии это чувствуется?

А ты знаешь, я этого не чувствую, нет.

Тогда можно ли сказать, что те, кто остается у нас, сделали свой сознательный выбор, понимая, что этот выбор движения в науку, тем более, в философию, быстрых денег не обещает?

Очевидно. Но они находят выход. Тяжкий, конечно. Вот возьми одного из лучших наших студентов – Мишу Минакова. Он докторскую уже завершает писать, но при этом деньги зарабатывает, так сказать, по совместительству, работая в какой-то фирме.

То есть где-то в другом месте они должны зарабатывать деньги?

Да, еще как. Вот Витя Котусенко – уже год прошел со времени рекомендации его диссертации, ему до подачи к защите надо было внести мелкую незначительную правку. За две недели интенсивной

работы это можно было сделать. И почему до сих пор не закончил? А у Вити просто не хватало времени. А времени не было потому, что он купил квартиру, жена родила двойняшек, и он вкалывает по-черному на фирме для того, чтобы все это обеспечить. И у нас на кафедре он имеет минимум часов не потому, что ему не дают, а потому, что он не может, да и не хочет за наши деньги их брать.

Вот еще теперешние наши надежды, два Виталия – Колоярцев и Падалка, оба получили у нас дипломы с высшим баллом, и по программе уехали делать диссертацию в Польшу. За три года Виталий Колоярцев сделал там докторат, на выходе к защите сейчас и Виталий Падалка – даст Бог, благополучно защитится. Прекрасные специалисты, но возвращаться к нам не хотят, так как прожить на наши зарплаты они не смогут. А у нас много таких ребят?

Ты имеешь в виду продолживших учебу за границей? Немного, но есть. Вот Володя Ермоленко сейчас в Париже, готовится к защите, не знаю, останется он там или нет. Вот у нас Лара Картель, с почти законченной хорошей диссертацией, наверное, скоро защитится, хотя неизвестно, сможет ли она здесь прожить, оставаясь в науке.

Да, это, к сожалению, одна из тех проблем, которые сегодня не решишь. Для нас она стоит особенно остро, потому что наша специальность ведь не предполагает четкого вхождения в коммерческие структуры. И похоже, у нас нет компромиссных вариантов.

Конечно. Ко мне недавно приехала одна моя выпускница. Она окончила магистериум, год работала в Кременчуге, сейчас в Николаеве, у неё там мама и ребенок. Так она на полную нагрузку, где-то более тысячи часов, читает в Николаевском педагогическом университете за зарплату 700 гривен. Когда я схватился за голову, она говорит: «А чему вы удивляетесь? Это нормальная зарплата, – говорит, – у нас все там так имеют». Говорю ей: ведь ты пока не защитилась, а она: ну, а те, что защитились, получают 800.

То есть приходится констатировать, что экономическая ситуация, а потому и психологическая для наших выпускников на сегодняшний день крайне неблагоприятна.

Очень...

Да, похоже, мало кто останется, но Вы на что-то надеетесь?

А я надеюсь на то, что философов никогда много не бывает, на то, что процент философов, который нужен нормальному обществу и культуре, есть и будет.

К счастью, всегда находятся те Сковороды, которые ради истины согласны взять торбу на плечи.

Да, да, а тысячу Сковород не надо никакой культуре.

Главное только, чтобы оставались все-таки Сковороды.

Я весьма оптимистично настроен в этом плане. Мне кажется, что вот то процентное, грубо говоря, соотношение, которое демонстрируют сейчас наши выпускники, вполне отвечает нуждам нормального культурного общества.

А вот интересно, можно ли посмотреть на неблагоприятную экономическую ситуацию с другой стороны: не получается ли так, что она сыграла роль своеобразного и положительного для нас отбора преданных философии и вообще науке людей?

Может быть, да. Может быть, нам за это ей надо даже благодарными быть. Конечно, тут очень жесткий критерий, но те, кто прошел его, уже имеют достаточный запас крепости и уверенности в том, что они здесь на своем месте, и выбор их правильный.

В идеале это так, но в реальности не все сразу очевидно, и многих мы все-таки теряем.

Несомненно, и это очень жаль.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. ДЕТИ

Вилен Сергеевич, невозможно не заметить, с какой любовью Вы говорите о ваших учениках. Правда ли, что ученичество для вас оказалось и степенью родства?

Да, я чувствую, что они мне родные.

А родство не мешает ученичеству? Ближайшим образом, я хочу спросить, стал ли Сережа вашим учеником?

Ты имеешь в виду Сережу, сына?

Да. Возможно ли стать учителем собственного ребёнка, трудно ли ему быть у вас учеником?

Как тебе сказать... В общем-то я доволен своим сыном, хотя он отличен от меня. Его зовут Сергеем, назван он, конечно, в честь его деда, вот того Сергея, о котором речь у нас была вначале.

Сколько ему сейчас лет?

Сколько лет Сережке... 58-го года, следовательно, 48 лет.

48 лет – это целая жизнь.

Ну, мне кажется, что из него вырос честный и достаточно самостоятельный человек, личность. Вот в этом смысле мы с ним близки. Говорить о какой-то абсолютной близости, в смысле

похожести, в смысле круга интересов и теоретических исследований, нет, да я, честно говоря, не очень к этому и стремился. Когда он окончил школу, я всячески уговаривал его в дальнейшем выборе быть самостоятельным, это он сам выбрал философский факультет, правда, отделение психологии.

А как Вы отнеслись к его выбору?

Честно сказать, я не хотел, чтобы он был вторичен, я даже боялся этого, ведь так, наверное, и случается, когда дети, которые уважают своих родителей, начинают порой, даже бессознательно, идти по уже проторенной родителями дороге. Я хотел, чтобы он сам прокладывал себе путь, поэтому обрадовался тому, что его выбор всё-таки не философия, а психология.

Для Вас его выбор был неожиданным? Когда он Вам сказал про такую свою ориентацию?

Да где-то в старших классах. Ну, наверное, здесь сказывался и круг общения, в котором он находился в семье, круг наших друзей, друзей семьи, с которыми он общался, все это, конечно же, наложило свой отпечаток. При этом, еще раз подчеркну, я на него не давил, и тогда, и теперь он отличается от меня. А отличие, о котором я хочу сказать особо, связано с, так сказать, генами и чудесным влиянием Тамилы, его мамы, да и всей её родни, людей, традиционно в нескольких поколениях связанных с реалиями практической жизни. Вот у Сережи не только хорошо работает голова, но и хорошо поставлены руки, чего о себе сказать не могу, уже давно в нашей семье Серёжу называют «золотые руки», причем не только у него в руках все спорится, но он еще явно получает от этого удовольствие. Что-то сооружает, что-то строит, у него были даже некоторые способности к живописи. Вот тут у меня висят картинки, в детстве им нарисованные.

Интересно, помните ли Вы: в детстве кем он хотел быть?

Сначала он хотел стать дворником, потому что тетя Таня, наш дворник, в представлении малышей была самая главная и самая ответственная, и самая страшная, так сказать, в силу неограниченных

ее прав и возможностей, личность. Поэтому он четко говорил: я хочу быть таким, как тетя Таня. Вообще же, он развивался в гуманитарном ключе, но вот эта тяга к конкретике, к практике все-таки сказывалась.

Впоследствии, мне думается, это послужило хорошим фоном для развития у него операционального мышления; наверное, поэтому впоследствии он от психологии ушел в социологию.

А его детский, еще не сознательный приоритет личности?

Остался на всю жизнь – Серёжа моментально чувствует в человеке личность или её отсутствие. В этом смысле, при всей своей мягкости, он очень требователен.

И как сложилась его профессиональная карьера?

А он пошел в аспирантуру к Погорелому. Окончил её и начал работать социологом где-то в НИИ, но скоро, как прирожденного практика, его все же соблазнили работой в фирме. Это был период образования у нас всяческих фирм, он выбрал рекламную, тем более, что тема его диссертации была с социологией рекламы непосредственно связана. Таким образом, его исследовательская работа нашла себе практическую реализацию.

Ему повезло, он сумел не выпасть из профессии.

Более того, он даже стал там довольно успешным деятелем. Но судьба самой фирмы сложилась трагически – погиб её хозяин, затем пришел новый со своей командой, а Сережа остался без работы. Тогда-то он и стал пробовать себя на преподавательской стезе, и оказалось, что у него это неплохо получается.

И сколько же было Сереже, когда он стал преподавать?

Да было уже под сорок.

И что теперь?

Нынче он уже доцент, зам. завкафедрой, и, судя по всему, он пользуется большим авторитетом и у коллег, и у студентов.

А где он работает?

Киевский университет туризма, экономики и менеджмента.

А видите, Сережа все же к вашему пути вернулся. Есть профессиональная смычка.

Более того, он и к Институту философии стал ближе, ведь кафедрой общественных наук заведует наш институтский Пазенок. Из института там читают и Лях, и Любивый, наши же философы, которые вот так находят себе практическое применение. Серёжа в этом кругу единственный представляет социологическую веточку.

Так у Серёжи состоялась реализация выбранного им пути.

Да, но вот эта его личностная ответственность за каждый свой шаг и здесь проявилась, именно поэтому он всячески противится предложениям делать докторскую, потому что, говорит, грамотный социолог должен делать докторскую на основе каких-то серьезных исследований. А такие исследования проводить в режиме педагогики очень тяжело, практически невозможно, и в этом, по моему мнению, сказывается его глубокое уважение к социологии как науке.

То есть Вы воспитали еще и добросовестного, честного человека.

Да, добросовестный и честный человек, и с этим ему подчас бывает очень трудно, но своим, в этом смысле, учеником я доволен. И вырастил он с Наташей двоих моих внуков, которых я очень люблю, а с Наташей, по-моему, они тоже живут в любви, душа в душу. Она нам с Тамилей как дочь. Кстати, она тоже научный работник, и по кругу своих интересов и занятий она даже ближе к философии, чем к социологии. У нас с ней много профессиональных общих тем, так что наше общение не ограничивается чисто семейными делами, хотя и здесь мне с ней хорошо и приятно. Ну, и внуки растут. Богдану одиннадцатый класс предстоит закончить, собирается быть юристом. А Алиса тоже сознательна вполне, её выбор – менеджмент, международный менеджмент. Вот она-то у нас организатор.

Вилен Сергеевич, смотрите, жизнь вашей семьи в ваших родителях, детях и внуках поэтапно вобрала в себя и отразила, как зеркальный сколок, все перипетии прошлого, проблемы настоящего и тенденции будущего развития нашего социума.

Да, но ты же понимаешь, моя голова повернута туда, вперед, к детям и внукам, о которых мы уже сказали.

Но ведь у Вас есть еще дети.

Да?

Ну, конечно, – ваши книги и поэтому, завершая наши беседы, давайте поговорим о них, о вашем творчестве. Вы довольно подробно рассказывали о его начальном периоде 60-70-х и, немного, 80-х годов; расскажите, пожалуйста, теперь о ваших работах начиная с 90-х, т.е. за последний, почти двадцатилетний, период.

Ну, за этот двадцатилетний период предметом моих изысканий стала уже, преимущественно, Киевская Русь, которой я всерьез, так сказать, увлекся. Ты же знаешь, что я с начала 80-х все более и более этим увлекался. Сначала результатом этого стали две книжки, в которых я как бы условно для себя обозначил общий взгляд на первые два столетия отечественной философской культуры. Первая книга охватывала XI и начало XII века, а вторая представляла собой реконструкцию наиболее интересных для меня фрагментов из истории философской мысли Киевской Руси середины XII – начала XIII веков. В общем-то, одна книга продолжает другую, и они обе являются освещением целостного периода. Причем разница между ними была та, что в первой я избрал проблемный подход и наметил какие-то самые приблизительные характеристики взглядов древних русичей на мир, на человека, на историю и т. д.

То есть выстроили своеобразную вертикаль?

Да. Во второй же я попытался, отталкиваясь от общей проблематики, персонифицировать эти наиболее общие положения взглядами отдельных личностей, представлявшими этот период. Моими героями стали Кирилл Туровский, Климент Смолятич...

Лука Жидята, там я помню очень интересное место о нем.

Лука Жидята, а «Слово о полку Игореве» и моление Даниила Заточника стояли немножко особняком, жанр другой. Мой метод заключался в том, чтобы от мысли, от общего взгляда идти к личности, этот взгляд представляющей.

Именно эта Ваша установка для меня была наиболее привлекательной.

Вот видишь, я вообще считаю, что в историко-философском исследовании главным героем и объектом исследования всегда является сам философ, личность. А когда предметом такого исследования оказывается достаточно отдаленная от нас эпоха, это и по-давно необходимо, хотя и очень трудно. Далее, именно с этой точки зрения я попытался конкретизировать общее представление об этических аспектах киево-русской святости; я рассматривал это, как одну из доминирующих линий истории мысли, в «Святых Киевской Руси». Мне казалось, что есть возможность, естественно, огрубляя несколько существо дела и схематизируя его, попытаться представить образы киево-русских святых как образцы той или иной этической добродетели, и рассматривал я это, конечно, на основе агиографии, т.е. житий киево-русских святых. Оказалось, что княгиня Ольга представляла собой образец непорочности и мудрости. Житие Владимира являет, прежде всего, идеал милосердия, житие Бориса и Глеба – идеал «вольной жертвы», страсто-терпчества. Феодосий Печерский в своем житии выступает как идеал смиренномудрия. Вот эти-то добродетели, идеальным образом представленные в житиях, составляют этическую направленность в культуре Киевской Руси.

Вилен Сергеевич, опираясь на Ваш принцип личностного подхода, я позволю себе спросить: к кому из исследуемых Вами героев, святых Древней Руси, у Вас лично больше лежит душа, кто по-человечески Вам ближе, кому Вы отдаете предпочтение?

В смысле героики меня больше всего потрясают Борис и Глеб, а по сердцу мне ближе Феодосий Печерский.

Не Антоний, а именно Феодосий? Чем же?

А установкой – вот так тихо каждый день делать свое дело.

Такое неприметное каждодневное трудничество, да?

Именно. Святой Антоний – подвижник, но он уходит от людей, а Феодосий совершает свои подвиги, идя к людям, это трудничество во имя любви, поэтому Феодосий.

Ваш выбор для меня очевиден, такое трудничество совершенно в вашем характере.

Ну, да, сознательно я для себя такой путь даже как бы и не выбирал, я просто всегда инстинктивно ему следовал. Хотя, по-видимому, мой жизненный путь не был прямой и широкой дорогой, были развилки, были тупики, было разнообразие интересов, иногда довольно хаотичное... Но когда настало, наверное, время подводить итоги и осмысливать пройденное, я с удивлением некоторым обнаружил, что, в общем, несмотря на такую кажущуюся хаотичность моих интересов и творческих, и в других сферах, складывается такое цветистое, но в общем-то целостное панно. К примеру, разнообразие моих творческих поисков: исследование украинско-болгарских связей, социальные измерения историко-философских проблем, наука и философия, философия и искусство, единство философии и религии как методологическая основа исследования культуры Киевской Руси, – все это, в общем-то, укладывается в некоторое целостное представление о таком феномене, который называют философской культурой. Ты же знаешь по моим книгам и лекциям, что исследование философской культуры как таковой на примере Киевской Руси стало для меня в последние годы основным предметом моих изысканий. Мне сейчас кажется, что само понятие философской культуры для того, чтобы оно могло стать методологической основой историко-философского исследования, должно быть несколько переосмыслено. Дело в том, что традиционное, идущее от Гегеля, представление об истории философии как философской науке, ограничивалось вопросами сущностного понимания тех всемирных, исторически

значимых философских систем и теорий, в диалог с которыми вступал актуальный философ, философ сегодняшнего дня, решая и разрабатывая те или иные проблемы, связанные с философским осмыслением бытия. Но ведь история философии – это процессуальная наука, и она должна не только констатировать высший теоретический результат, а и изучать сам процесс философствования. А этот процесс берет начало, как говорил Аверинцев, «далеко выше по течению», не там, где мы имеем мощный поток реки, а там, где пробивается маленькая струйка воды, которой нужно еще преодолеть немало препятствий, прежде чем она достигнет своего совершенства.

Именно весь этот круг проблем как-то в историко-философской науке оставался на периферии и обычно загонялся во введение. Тем не менее, этот функциональный и генетический аспект историко-философского исследования, по моему представлению, имеет самостоятельную значимость, конкретнее: каков путь, какова трансформация, которую переживает идея, зародившись в теле культуры, пока она достигнет такого уровня, на котором она может стать предметом теоретического осмысления в уже профессиональном философском дискурсе. Вот этот генетический аспект истории философии, выдвигающий на передний план интерес к источникам, из которых рождается философская система, как мне кажется, достоин особого исследования и изучения. Вместе с этим, не менее важна и постистория той или иной системы, ведь система рождается в голове мыслителя, воплощается в философском труде и, наконец, находит своего адресата. Очень интересно и важно движение идеи, рожденной и сформулированной в голове ее творца, до ума и сердца адресата. Таким образом, вполне самостоятельным предметом историко-философского исследования для меня оказывается и история жизни уже созревшей философской идеи в теле философской культуры, и это то, что я определяю как функциональный аспект истории философии. Понимаешь, по-моему, это реальная история философии, история в том смысле, что она пытается предмет своего исследования брать с самого начала, с момента зарождения, и проследить процесс вызревания его до

формулирования уже в чисто теоретическом виде. В определенном смысле, однако, история философии и этим моментом не завершается, а с этого момента лишь начинается. Важно, что вот эти генетический и функциональный аспекты в своей совокупности предполагают привлечение к исследованию не только профессионально-философского текста, а и всего массива предшествующей ему философской культуры. В общем массиве культуры, таким образом, для историка философии становится интересным именно некое глубинное подспудье, заложенная в нем философски значимая основа, на которой строятся затем политические декларации, религиозные проповеди, литературно-художественные произведения, научные исследования. По-моему, совокупность вот этих философски значимых впоследствии моментов, наличных в теле каждой культуры, и образуют в ней то, что можно назвать философской культурой данной нации, эпохи и т.д.

Кроме того, нужно учитывать, что именно процесс становления философской идеи, зародившейся где-то там под спудом религиозного мирозерцания, политической декларации и т.д., является самостоятельным предметом историко-философского исследования, ведь любая идея до своего философского уровня должна вызреть. А этот процесс вызревания, как правило, связан с её рационализацией; залогом успеха такой рационализации является наличие уже сформированной философской традиции, иначе говоря, определенной шкалы философского мышления. То есть, нужно уже владеть определенным набором знаний, обеспечивающим профессионально-философский дискурс, в ходе которого зарождаемая в теле культуры идея может стать философской концепцией.

Я здесь веду речь о том, что есть возможность выделить три такие ступени в истории философской культуры. Первая ступень – когда мы имеем дело лишь с разрозненными идеями, составляющими подспудное основание всего многообразия проблем культуры. Носителями его являются мыслители или любомудры, как их называли у нас. Вторая ступень – движение рационализации; она связана с развитием зарождаемой идеи в определенной философ-

ской школе. Из общего тела культуры наша идея переходит в лоно школьной философии, университетской философии, где формируется парадигма, на которую уже опираются профессионалы; формируется такое философское знание, носителем которого является профессор философии. И, наконец, третья ступень, или третий слой философской культуры, где выдающиеся единицы не только овладевают парадигмой школьной философии, а и оказываются в состоянии выйти за ее рамки и найти новое решение, поднявшись над ней, то есть выходят на авансцену собственно теоретики-философы. Таким образом, главными героями истории философии оказываются вот эти три персонажа – мыслитель или любомудр, профессор философии и философ-теоретик; они персонифицируют три слоя философской культуры, давая возможность исследовать её в движении, представить историю философии как непрерывный культурный процесс.

А интересно, куда в этой структуре Вы отнесете то, что называется философской экзистенцией? Она ближе к первой ступени?

Думаю, что к первой. И вот, собственно, об этом я и пытался говорить в отдельных разделах моей книги о философской культуре «У истоков» («Біля джерел»). Там есть методологический раздел, где я излагаю только что рассмотренные принципы, а потом я делаю некоторые конкретные историко-философские пробы по их применению. И еще одна проблема, занимавшая меня, это взаимодействие философской и национальной культуры в условиях сегодняшней глобализации. Это уже как бы горизонтальный срез культуры: место национальных философий в общем поле мировой философии.

Вилен Сергеевич, а куда, по вашему мнению, входит, сложившаяся и устоявшаяся в каждой культуре система ценностей, моральных и деятельностных приоритетов и т.д.?

Я думаю, что эта система реальнее всего проступает на первой ступени, на первом уровне. Именно там эти ценности и приоритеты нужно исследовать, потому что они являются для зарождающейся идеи её, так сказать, общекультурным контекстом. Важно

также, что на последнем уровне эти контексты выступают уже доминантой. Таким образом, система ценностей оказывается компонентом и первоначальным, и завершающим. Ведь именно обращаясь к комплексу представлений, господствующих в данной культуре, мы можем в полной мере оценить то, что выросло из нашей первоначальной идеи в результате.

Вилен Сергеевич, у меня складывается впечатление, что в этой своей книге, «У истоков», Вы возвращаетесь к рассмотрению тех вопросов генезиса истории философии, с которых Вы когда-то начинали, только уже на другом, углубленном философском уровне.

Да, в этом смысле мне нечего от них отказываться.

Обзор получился достаточно целостный и хорошо структурированный.

И очень приятно, что вот эти ребята, которые себя считают моими учениками, что мне лестно, используя мою модель, назвали свой сборник «Древнерусское любомудрие». И это уже второе употребление термина, первый раз эта терминология использована в книге, которую мы написали в соавторстве: я, Завгородний, Олена Вдовина и Саша Киричок. Там мы попробовали термин «любомудр» применить к характеристике Климента Смолятича, таким образом получив возможность отказаться от традиционно шокирующих адептов классической философии – применительно к мыслителям киево-русской поры – названия «философ».

Ну что же, есть концепция, есть школа, есть ученики. Через недельку Вам исполняется 75, и это как бы очередная вешка.

Будем надеяться, что очередная, но, к сожалению, сил и возможностей становится все меньше.

Я как раз хотела спросить Вас, а вот как бы Вы назвали могиланский учебный курс по вашей последней книге?

Ну, допустим, «Проблемы истории философской культуры».

Курс был бы рассчитан на магистров, да?
Допустим.

Так что все еще впереди?
Может быть, может быть...

Вилен Сергеевич, Вы счастливый человек?

Да, я счастливый человек – я прожил счастливую жизнь. Жизнь, конечно, трудная была, не было у меня каких-то особых благ никогда, но я, честно говоря, не очень-то к ним и стремился. А те фундаментальные ценности, которые мне жизненно дороги, так, по-моему, я остался им верен.

А скажите, пожалуйста, что Вы больше всего любите в жизни?

Ну, я больше всего в жизни любил читать, читать и путешествовать. К сожалению, сейчас я существенно ограничен в своих возможностях.

Современный человек слушает, вообще говоря, больше, чем читает.

Да, надо приучаться быть современным человеком и больше слушать.

А чего Вы больше всего в жизни страшились, чего особенно хотелось избежать, помимо того, что страшно для каждого человека? Что неизменно вызывало у вас категорическое отторжение?

Ну, заниматься тем, к чему душа не лежит.

А когда вы это поняли?

Я это понял сразу, когда получил назначение в среднюю школу преподавателем; я, так сказать, в своих жизненных планах никогда не связывал свою деятельность с этой сферой. Но как я себя вел в таких случаях? Старался извлечь из них пользу. То есть, я в любом деле, каким мне по судьбе выпадало заниматься, стремился найти ту точку, которая отвечает моим интересам и возможности быть

на своем месте. А счастлив я именно потому, что все виды деятельности, к которым мне так или иначе пришлось быть причастным на протяжении жизни, давали мне такую возможность.

Качество в человеке, которое Вам кажется наиболее достойным?

Я очень ценю в людях способность уважать личность ближнего своего.

А самое отвратное для вас?

А самое отвратное – самовлюбленность.

Что бы еще в жизни хотелось сделать?

Понимаешь, еще побольше узнать. Меня волнует невероятное количество вопросов, которые мне остаются неясными, непонятными, непознанными, вот додумать, узнать... Это, по-видимому, то, что, как я понимаю, я уже не смогу сделать. Но в этом сейчас я возлагаю надежду на более молодых своих коллег, которые себя моими учениками считают, они это смогут, но все-таки кое-что мне еще хотелось бы успеть и самому. А это уже как Бог даст.

А написать еще что-нибудь, Вилен Сергеевич?

Покамест, нет, пока не готов. Сейчас я переживаю процесс перестройки, вписывания в новые условия, так сказать, которые мне жизнью заданы. Вот и все.

Вот на этом слове «пока» мы и закончим. Спасибо, спасибо.

664262

Науково-популярне видання

Горський Вілен Сергійович

Я ПРОЖИВ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ

Цикл інтерв'ю Тетяни Олексіївни Чайки

Редактор, коректор: М. Ю. Карацуба

*Художнє оформлення: К.Л. Ананко
Макет і комп'ютерна верстка: Є. М. Нестеренко*

Підписано до друку 12.06.2014 р.
Формат 60 x 84 $\frac{1}{16}$. Папір офсетний.
Гарнітура «Minion Pro».
Обл.-вид. арк. 6,57. Ум.-друк. арк. 11,83.
Наклад 300 прим. Зам. № 1361.

Видавничий дім Дмитра Бураго
Свідоцтво про внесення до Державного
реєстру ДК № 2212 від 13.06.2005 р.
Тел.: (044) 227-38-28, 227-38-48;
e-mail: conf@burago.com.ua
www.burago.com.ua
Адреса для листування: 04080, м. Київ-80, а/с 41